



















загорала!» Даже при моей неспособности запоминать лица Машу я бы запомнила сразу. Она не приbedнялась, но и цены своей громко не объявляла. Все и так оценивали ее по достоинству.

Никто не считал Машу чемпионкой класса по «многоборью», так как она ни с кем не боролась: ее первенство было бесспорным.

Во всем, кроме женственности: тут первой считалась Ляля.

Лялина жизнь началась с потери. И хоть в первый миг она, разумеется, этого не ощутила, потом все более погружалась в воспоминания о том, чего не могла помнить: стала отрешенной, задумчивой. Красивые женщины даже во сне не забывают, что они красивы. Ляля же в ответ на похвалы оглядывалась, словно та, которой восторгались, скрывалась где-то за ней. Красавицы привыкают к поклонению и уже не могут без него обходиться. Ляля восхищенных взоров не замечала, и они от этого становились еще восхищеннее.

Мне самой от поклонников не приходилось обороняться — и я обороняла от них Лялю. Одним словом, под моей защитой находился весь дом Ивашовых.

Мама предпочитала взять этот труд на себя.

— Не живи чужою жизнью! — уговаривала она.

— А сама?

Мама не могла стать иной, чем была. Но поскольку самопожертвование пока что ей счастья не приносило, она не хотела, чтоб и я видела в нем свое жизненное призвание.

Мама считала, что ей тоже не грозят романтические атаки. Возможно, этот диагноз, поставленный еще в молодости, был неточным, поспешным. Но мама действовала согласно ему, и в результате наше семейство не имело мужской опоры, а у меня появились мальчишеские повадки.

Маша Завьялова также не подвергалась атакам... По той причине, что подступиться к ней не решались: надо было соответствовать ее уму и разнообразным способностям.

Маше сулили чин академика, Ляле — покорительницы сильного пола и создательницы счастливой семьи, а я просто была их подругой. Мне ничего не сулили.

Я гордилась Лялиной красотой и Машиними талантами более громко, чем гордятся собственными достоинствами, именно потому, что эти достоинства были все-таки не моими: в нескромности меня обвинить не могли.

— Ты продолжаешь жить чужой жизнью, восторгаешься не своими успехами, — констатировала мама.

— Это плохо? — удивилась я.

— Сиять отраженным светом? — Она задумалась и повторила то, что я уже слышала от нее: — Смотря чьим светом! Но даже самый

красивый и яркий меня не согрел.— Мама натянула на плечи платок.— Нет, не согрел. По крайней мере до сей поры.

Значит, она надеялась.

## 2

Третьего июля сорок первого года, сразу же после утренней речи, вошедшей в историю, мальчишки, которые были на один класс старше, побежали в военкомат.

— Может быть, рано? Только что окончили школу...— сказала мама.

Через несколько дней мальчишек побрили. Они смущенно ощупывали свои головы. И от этого казались беззащитными. А уходили на фронт... Предчувствуя, что обратной дороги к дому может не быть, они стали объясняться Ляле в любви. Все подряд. Они не ревновали ее друг к другу. Им важно было у с п е т ь высказаться. Я не оттесняла их в сторону, как прежде, а оставляла с Лялей наедине.

И к Маше, как мне стало известно, двое ребят с беззащитно-бритыми головами тоже решили, наконец, подступиться: им предстояли более рискованные атаки.

— Что ты им отвечала? — спросила я Лялю: мне было интересно.

— Что люблю их. И буду ждать.

— Всех?!

— Всех до единого.

— Правильно сделала. А ты? — обратилась я к Маше.

— Говорила: вы еще поступите в институт. Еще поступите!

— И только?

— Кажется, да.

— Что ж ты? Такая умная...

— Этот агрегат,— она положила руку на сердце,— у Ляли умней. Совершеннее!

Лишь в моей женской судьбе даже необычайные военные обстоятельства ничего изменить не смогли.

— Прощай, Дусенька,— говорили мне мальчишки так же, как говорили учителям или соседям по дому.

— До свидания,— поправляла я их.

В начале месяца Ляля сказала мне:

— Папин стройгигант посылают на оборонительные укрепления... Я поеду с отцом.

— Тогда и мы с Машей поедem,— уверенно сказала я.

Машины родители понимали, конечно, к а к а я у них выросла дочь.

— Про нее еще в энциклопедии напишут! — заверила их моя мама.

Они не возразили:

— Спасибо, Тамара Степановна.

Дочь была их единственным достоянием. Но этой драгоценностью они не хвастались, не прятали ее, не запирали на ключ. Да и комнату свою в коммунальной квартире тоже не запирали. Прятать и запирать они были не приучены еще и потому, что жили бедно, хотя, мне казалось, этого не замечали. Маша умела многократно и до неузнаваемости преобразовывать не только одну и ту же юбку — она и мебель постоянно переставляла, умудряясь нарушать незыблемые математические правила: от перестановки слагаемых сумма менялась — и комната каждый раз становилась иной.

Машины родители были доверчивыми и сговорчивыми людьми.

— Никакой опасности нет,— сказала я им.

И они мне поверили.

Мама ее, привыкшая подчиняться, поскольку решающий голос в семье принадлежал все же дочери, спросила:

— Вы одни едете... из всего класса? Только девочки?

— Едет Ивашов!

— Он сам? Тогда я спокойна.

Но моя мама неожиданно воспротивилась:

— Одних я вас не пушу! — Она, опекавшая два дома, две семьи, за все ощущала как бы удвоенную ответственность. — На сколько дней вы отправляетесь? И где там жить будете? И кто вас будет кормить?

— С нами Ивашов едет. Ты понимаешь?

— Тем более!

Я изумленно уставилась на нее.

— Он тоже не приспособлен...

— Он?!

Мама и Ляля вперегонки заботились об Ивашове. Но, как свекровь уверена, что невестка не может заменить сыну мать, так и каждая из них считала, что ее заменить Ивашову полностью не сможет никто.

— Одних я вас не пушу! — еще решительней заявила мама.

— Что значит о д н и х?

— Без меня вы там пропадете!

### 3

Нас отправили в дачных вагонах. Привычные скамейки, исполосованные стершимися рейками и утратившие определенный цвет; окна, верхняя половина которых, сопротивляясь, с натугой опускалась, нехотя открывая дорогу паровозной гари и ветру, — все это дразнило воспоминаниями о том, что было вот-вот, накануне, но уже стало невозвратимым.

С нами ехал Ивашов, и вагон на военный манер прозвали КП. Казалось, весь состав двигал вперед не паровоз, а этот вагон,

находившийся в середине поезда. Спрыгнув на землю, подтянутый, скроенный с безукоризненной пропорциональностью, Ивашов все равно поправлял пояс и гимнастерку, подтягивал сапоги. Если ощущал, что каштановое море на голове «слегка разыгралось», приводил его ладонью в порядок. И шел вдоль вагонов. Его окружали, за ним с надеждой семеня по шпалам.

Люди боялись удалиться от поезда — а вдруг он тронется!

— Без нас не уедут, — успокаивал Ивашов. — Разомнитесь немного, прогуляйтесь...

— А людей это... не размагнитит? — спросил, я помню, заместитель Ивашова по хозяйству и быту, человек со странной фамилией Делибов. — Надо привыкать к законам военного времени!

— К боегниту законам не приобщают на мелочах, — ответил Ивашов. Оглядел закованного во френч Делибова: на открахмаленный воротничок, как молочная каша на края переполненной кастрюли, напознала изнеженная белая шея.

— Расстегните верхнюю пуговицу, — вполголоса посоветовал Ивашов. — Пояс распустите немного.

— Есть, — ответил Делибов, чувствовавший себя уже в самом пекле сражений. И, схватившись за поручни, стал подниматься в вагон, чтобы не у всех на виду выполнять указание.

Мы еще не встречались с войною глаза в глаза... Но внезапно увидели развороченные пути и будто исковерканные рукой безжалостного силача рельсы, скелеты вагонов под насыпью. С нашим составом тоже могло случиться такое...

Поняв, что об этом думает каждый, Ивашов объяснил:

— А в мирной жизни? Один, как счастливый состав, проскочил к девяностому «километру», а на других фугаски в середине пути попадали: разрыв сердца, злокачественная опухоль или еще что-нибудь. Об этом нельзя задумываться. Просто бессмысленно. Вот таким образом!

Как ни странно, упоминание о страшных, но «мирных» болезнях нас успокоило: везде человека могут подстергать неожиданные бомбежки — и заранее ждать их неразумно: это ничего не предотвратит, не изменит. Чем меньше в пору войны остается времени для бездейственных раздумий о собственной судьбе и ее превратностях, тем лучше. Только действия спасают людей от предчувствий и страха.

Маша, угадав, что пассажиры дачного вагона все же погружаются на дно молчаливых, невеселых самопредсказаний, начала действовать. Она, разумеется, и гадать тоже умела...

— Дайте-ка я взгляну на карту вашей жизни! — говорила она.

Люди протягивали руки как бы для подаяния. Маша изучала линии, глубоко вьвшиеся в ладонь или тончайшие, еле заметные. Разглядывала, как хитроумно, от истока до устья, переплетаются русла высохших рек и речушек...

Потом горестно покачивала головой:

— О-о, у вас было много сложностей!

С ней соглашались: у кого не было сложностей?

— Вы не раз болели...

Доверие к Маше росло: кто из нас избежал недугов?

— Были ссоры, окружающие не всегда понимали вас.

А кого из нас всегда понимают?

Убедившись, что Маша — провидица, все затихали, внимали ей. И тогда она объявляла:

— Но линия жизни у вас прекрасная! Длиннющая линия жизни...

Вы дотянете до седой старости в окружении близких!

Подвижное, как у мима, Машино лицо в этот миг выражало такую уверенность, что люди успокоенно откидывались на спинки истертых скамеек и устремляли взор в полуоткрытое окно беззаботно, словно дачный вагон действительно вез их на дачу.

Маме и нам с Лялей Маша уже давно предсказала долгую и благополучную дорогу в грядущее. И только ладони Ивашова она не коснулась: не решилась положить его руку в свою.

— Вы... не цыганского происхождения? — задавали Маше привычный для нее вопрос.

— К сожалению, нет, — отвечала она.

— Не цыганка? Очень похожи. Такой цвет лица...

— На юге не была. На пляже не загорала.

— У нее от рождения такой цвет, — встревала я в разговор. — И она все на свете умеет!

— Опять ты гордишься чужими и достоинствами, — беспокоилась мама. — Постарайся, чтобы восторгалась твоими.

Но я знала, что чем больше буду в этом смысле стараться, тем ничемнее окажется результат: безнадежно хотеть быть талантом или назначить себя таковым.

Спали мы сидя... Порой удавалось прилечь на скамейку — тогда между нами и конвейерно-монотонным колесным стуком исчезало всякое расстояние.

— Спать на досках полезно, — сказал Ивашов. — Даже Николай Первый понимал это. Считайте, что обрели царское ложе!

Уборные были таинственно заперты. Ивашов приказал, чтобы после длинных перегонов представители сильного пола прыгивали в одну сторону — туда, где встречные пути, а представители женского — в другую, где лес и кусты. Он всем пытался облегчить жизнь, но женщинам в первую очередь.

— Тут уж, как говорится, лишь бы успеть. Любой ценой! — сказал наш будущий бригадир, молодой человек с круглыми, нежно-розовыми щеками. Он старался, как и Делибов, скрыть свой вид «мирного времени» нагнетанием чрезвычайности, напряжения.

— Тут уж... любой ценой! — повторил он.

— Все еще только начинается, а вы поторопились выучить эти слова? — повернулся к нему Ивашов. — Взяли на вооружение? — И добавил: — Дамы ни при каких условиях не должны терять своего достоинства. Мужчины, как вы говорите, «любой ценой» обязаны содействовать этому.

«Почему он заботится обо всех женщинах?» — ревниво подумала я. Мама же сделала вид, что не слышала этого разговора: он входил в противоречие с застенчивостью и романтичностью ее давних чувств к Ивашову.

С конвейерной монотонностью перестукивались колеса, а Ивашов своим глубоким, спокойным баритоном объяснял, как надо копать рвы. Когда он произносил слова «укрепления», «рвы», «танки», «лопаты», никто в вагоне не вздрагивал.

Последний раз я общалась с лопатой в детском саду. А может, это был песочный совок?..

#### 4

Поселили нас в здании школы. Как театр без зрителей, а стадион без спортсменов, так и школа без детей выглядела заброшенной... Ее заполнили взрослые люди. Это было тревожно и ненормально.

— Детей отправили в тыл, подальше, — объявил бригадир.

Мама обняла меня и моих подруг, испугавшись, что троих детей «отправить» забыли.

— В дороге мы отдохнули, — неестественно бодрым голосом сказал бригадир. — Отоспались, можно считать. Утром начнем! Все получат лопаты.

Мы получили их в пять часов. Рассвет только еще пробивался, а мы уже вышли к своему «фронту работ». Лопаты были тяжелые, с небрежно обструганными, суковатыми ручками. «Четыре метра в ширину и два с половиной в глубину... Четыре в ширину и два с половиной в глубину!» — это стало нашей главной и единственной целью.

— С непривычки трудно будет, — предупредил бригадир.

— Очень трудно? — спросила мама.

Она, если бы было возможно, ухватила сразу за четыре лопаты.

— Как кому... — сказал бригадир.

И посмотрел на Лялю.

Он был в новенькой спецовке, новых кирзовых сапогах. Казалось, он явился на репетицию строительных работ, а не на сами работы в прифронтовой обстановке.

Уже через полчаса на моих пальцах и ладонях резиновыми пузырьками надулись мозоли. Но это не считалось поводом для передышки. Они лопались, превращаясь в кровавые пяточки.

Природа не расслышала сообщения о войне: лето было умиротворенно-роскошным. Оно разлеглось, блаженно разметалось

в необозримых просторах, будто оглохло. Цветы и травы дышали безмятежно, ни о чем не желая знать, ничего не предвидя. Переевшиеся шмели с вальяжной неторопливостью кружили над нами.

— В школу бегать не обязательно,— сказал бригадир.— Спать можно прямо в траншее.

Он, подражая природе, не замечал наших мозолей и того, как мы неритмично, через силу вдыхали и выдыхали воздух, не к месту ароматный, дурманищий. Не видел, как мы судорожно, наобум вгоняли лопаты в землю. Мальчишество тянуло его максимально приблизить нашу жизнь к условиям передовой линии или делать вид, что он этого хочет.

Не сговариваясь, мы мечтали, чтобы на помощь пришел Ивашов — и он появился.

Увидев нас, поправил пояс и гимнастерку, которые были в полном порядке.

— Спать решили в траншее,— доложил бригадир.

— Там спят только солдаты,— сказал Ивашов.— Воины! Вы еще до этих званий не дослужились. Отдыхайте под крышей.

И пошел дальше, вдоль противотанковых рвов, успокаивая ладонью каштановое смятение на голове.

— Начальству виднее,— отменил приказ бригадир. Хотя был уверен, что «виднее» ему.

Бригадиру, студенту-заочнику строительного института, нравилось повелевать нами. У самого себя он пользовался непререкаемым авторитетом. Нежно-розовощекий («Ему бы Керубино играть!» — сказала Маша), он высказывался тоном умудренного опытом старца. Он точно знал, какими листьями надежнее всего укрывать нос и лицо от солнца. Он знал, сколько у Гитлера танков и какие на фронтах предстоят перемены. Если что-нибудь не сбывалось, он говорил:

— Не торопитесь...

Мы должны были понять, что в конце концов все произойдет согласно его предсказаниям.

— У Гайдна сто десять симфоний,— сообщил он.— Надо же!

— Сто четыре,— возразила Маша.

— Ты не учитываешь шесть недописанных... Они остались в черновиках.

Проверить это в прифронтовой обстановке было не просто.

Я испытывала непонятное утешение от мысли, что не все немцы сжигали, бомбили, а некоторые... сочиняли симфонии. И австрийцы сочиняли, как, например, Гайдн. Хотя Гитлер тоже был родом из Австрии... Обращаясь к Ляле, наш умудренный опытом повелитель на глазах молодел и терялся.

Машу он невзлюбил, поскольку она знала, сколько симфоний сочинил Гайдн, и была в нашей тройке неназначенным бригадиром.

Четыре метра в ширину и два с половиной в глубину, четыре в ширину и два с половиной в глубину... Мы продолжали копать. Маша объясняла, как надо держать лопаты, чтобы они не казались такими тяжелыми, не ранили ладоней и пальцев. Она быстро приновилась.

Когда наконец бригадир нехотя догадался объявить перерыв до утра, Маша предложила:

— Давайте споем.

— Что-нибудь цыганское! — не сумев скрыть пристрастия к не подходящему в тот момент жанру, попросил бригадир. — Ты ведь...

— Не Земфира. К сожалению, нет. И еще сообщаю: на юге не была, на пляже не загорала.

— Ты тоже знаешь столько песен! — подтолкнула меня в бок мама.

— Копать я бы еще смогла, а петь...

Голос, как и руки, дрожал. Тогда Маша затиула одна, соблюдая мелодию и восторженную интонацию: «Кто может сравниться с Еленой моей?!» Бригадир снова помолодел.

— Матильда простит меня. И Петр Ильич тоже: не он ведь сочинял текст, — сказала Маша. И протянула руки в Лялину сторону.

С противоположной стороны послышался гул. Он растягивался, растягивался... Пока не накрыл собою все небо. Мы подняли головы и увидели, что пространство над нами залито асфальтовыми иероглифами. Трудно было вообразить, что там, внутри машин, находились люди.

— На Москву идут, — глухо, впервые утерав свой повелительный, бодряческий тон, сказал бригадир.

— Будут бросать фугаски? — прошептала мама.

— Если прорвутся, — ответил бригадир. И добавил: — А если не прорвутся, они могут весь боезапас на обратном пути... тут раскидать.

— Зачем же предполагать такое? — раздался спокойный, глубокий баритон Ивашова. — Мало ли что может случиться? Надо на лучшее рассчитывать... А случай есть случай! Иногда и в ясный день землю начинает бить лихорадка. Или вулкан просыпается... А люди? Живут себе потом на склонах горы, возле кратера, и пепел туристам предлагают в качестве сувенира. Сам однажды купил... Конечно, учитывают вулканы повадки, но живут. Если нечто произойдет — шанс на это во-от такой! — Ивашов продемонстрировал мизинец своей большой, спокойной руки, — сразу надо в траншею. И не падать на дно, а к стене прижиматься... Запомнили?

— Вы, Иван Прокофьевич... в случае чего где будете? — спросила мама.

— Посмотрите, какие шмели и пчелы! — вместо ответа воскликнул он. — Того и гляди ужалат.

Опасности мирного времени, которые, оказывается, тоже были еще возможны, успокоили нас.



— Полностью, Тамара Степановна, землетрясение исключить нельзя,— продолжая любоваться природой, сказал Ивашов.— Значит, будем прижиматься к стене... Вот таким образом.

Когда бригадир убедился, что Ивашов не слышит его, он небрежно прокомментировал:

— А на дно еще лучше... Вернее! И голову лопатой прикрывать надо. Металл все же!

Мама потребовала определенности:

— Так на дно или к стене?

— Руководству виднее,— ответил бригадир, вновь давая понять, что ему-то на самом деле гораздо виднее.

Демонстрируя нам и прежде всего Ляле свою независимость от начальства, он добавил:

— Трудно под прожекторами работать. Что, я сам не соображу? К чему это шепство?

Фашисты опять летели на Москву. И опять небо залили асфальтовыми иероглифами. Тупое, мертвое равнодушие двигалось в вышине. Лопаты и без того утомились за день, а тут их стук и лязг стали вовсе безвольными, беспорядочными.

Командный пункт расположился далеко от нашего «фронта работ»... Но Ивашов невзначай оказался рядом, с лопатой в руках.

— Задание выполняем. Не считаясь со сложностями! — отработовал бригадир.

— Скажите еще: «Не считаясь с потерями!» Со всем этим грех не считаться,— рассердился вслух Ивашов, хотя ему не хотелось в нашем присутствии унижать бригадира.

Тупой, мертвящий гул удалялся... Мы думали: куда на этот раз упадут фугаски? В арбатский переулочек? В Замоскворечье? Неопределенную тревогу легче перебороть, чем тревогу конкретную. Беспокойней всего было Маше: рядом с Лялей находился отец, за моей спиной вздыхала мама, а ее родители были там, где сирена, надрываясь, возвещала об опасности — слепой, безрассудной.

Все смотрели на Ивашова: он должен был повернуть «конкерсы» вспять, не пустить их в Москву, убрать наши дома.

— Организуй что-нибудь... Маша,— неожиданно переложил он ответственность на ее плечи.— Ну, хотя бы концерт.

— Без репетиции?

— На войне все экспромтом: спасение, ранение, смерть. И концерт! Вот таким образом.

Ни раньше, ни после я не слышала от него слов о смерти. Наверно, даже жестко контролируя себя, человек не может хоть раз не сорваться. Он, стало быть, считал, что и мы... на войне.

Все побежали в школу. Там был зал со сценой, где раньше

устраивались утренники и вечера самодеятельности. Занавеса не было, в углу сцены притулилось старенькое пианино, на котором в прежнюю пору не раз, конечно, исполнялся «Собачий вальс» и другие популярные в школах произведения. К стене была приколоты кнопками стенгазета. Кого-то корили, кого-то восхваляли за отличную успеваемость. Неужели это недавно... могло волновать людей? Зрители уселись. Маша вышла на сцену.

— Начинаем концерт! Кто хочет выступить?

Позади нас с Лялей устроился розовощекий бригадир.

— Прирожденный затейник,—сказал он о Маше.

— Она талант! — ответила я.

Мои разъяснения были не нужны бригадиру: он хотел вовлечь в разговор Лялю. Но она женственно, мягко не обращала на него никакого внимания.

— Не хотите? — повторила Маша.— Тогда начну я.

Времени на раздумье у нее не было — и она запела чересчур уверенным от смущения голосом то, что было на самой поверхности памяти: «Любимый город может спать спокойно...» Всем известные слова, приевшиеся, как учебная тревога, звучали заклинанием: нам хотелось, чтоб они обрели силу и непременно сбылись.

Потом, по зову Маши, и Ляля поднялась на сцену — легко, не заставляя себя упрямиться. Села за пианино. Из-под ее пальцев звуки должны были выплыть задумчиво, медленно, а они вырвались, словно только того и ждали.

Маша стала окантовывать сцену танцем. Она двигалась по самому краю, рискуя упасть... А Ляля играла «сломя голову», до конца топя клавиши и стараясь заглушить наши мысли об улицах и переулках, на которые могли свалиться фугаски.

— Дворжак,— объявил сзади бригадир.— Цыганский танец...

Он тайно тяготел к непринятым тогда цыганским мелодиям.

— Венгерский,— поправила я.— К тому же, простите, Брамс.

Ляли со мной рядом не было, и он не оскорбился, не стал возражать.

По просьбе Маши ей протянули из зала колоду карт: она стала показывать фокусы.

Ляля аккомпанировала ей уже не так оглушительно, а вроде бы издали, из глубины.

Бригадир за моей спиной нудно объяснял, к а к Маша производит (он так и сказал: «Производит!») свои фокусы:

— Уж поверьте мне... Она небось и вверх ногами умеет?

— Она все умеет,— ответила я.

Маша, невесть как угадав его иронию, прогулялась по сцене на руках.

— Это же очень просто,— начал сзади бригадир.— Уж поверьте мне...

— Встали бы да прошлись! — грубо посоветовала я, потому что в обиду своих подруг не давала.

Я тайком наблюдала за Ивашовым... Я везде делала это: и в его отдельной квартире и когда он шагал вдоль вагонов или вырытых нами противотанковых рвов.

Он не пел и не аплодировал, а взирал на Машу, как на спасительницу. Мне хотелось, чтобы когда-нибудь... хоть один такой его взгляд упал на меня.

Мужской голос из темноты вернулся к началу концерта — почти истошно завопил: «Любимый город может спать спокойно...» В тот же миг (я помню, что в тот же!) мы опять услышали не страшный, а отупело-безразличный гул в вышине.

— Возвращаются... Не прорвались! — слышалось рядом и впереди меня.

Кто-то захлопал... Это было лихорадочное торжество.

А потом сверху к земле потянулся вой.

— На улицу!.. В траншеи! — с напряженной уверенностью приказал Ивашов. И его все услышали.

Опрокидывая стулья, толкаясь, люди бросились к выходу.

Вой нарастал, приближаясь ко мне... ко всем нам.

— Ложитесь! — приказал Ивашов.

Мы, как на военных учениях, молниеносно рухнули на пол, на каменные ступени.

Со шрапнельной дробностью и колющим уши звоном вылетели стекла. Где-то совсем вблизи кусок земного шара откололся и взлетел в воздух.

— Свет... Погасите свет! — раздался голос Ивашова, не позволивший себе измениться и как бы отвечающий за всех нас, притихших под школьной крышей.

Я поднялась, взяла маму за руку и повела ее в ту сторону, думая, что и Ляля находится там.

— Дуся! Это ты? — перехватил меня Машин голос. — Я чувствовала, что ты... здесь. И Тамара Степановна?

— И мама.

— Замечательно! И Ляля тут. Все собрались! Идите за мной... Чтоб ни на кого не наткнуться!

Она умела видеть во тьме. Она все умела.

— В доме опасно, — шепотом, чтобы не сеять панику, произнесла Маша. — Надо добраться до рва...

Ивашов тоже так думал:

— Все — на улицу. И в траншеи!

Мы оказались на школьном крыльце... В меня сверху опять начал ввинчиваться вой. Быть может, это продолжалось всего лишь секунды.

Фугаски, предназначавшиеся арбатским переулкам, Замоскворечью, летели на нас.

— Ложитесь! — скомандовал Ивашов.

Все плашмя, как во время учений, упали в коридоре и на ступени крыльца.

Дьявольской керосинкой повисла в воздухе зеленоватая осветительная ракета.

— Следите, куда я побегу, — негромко сказала Маша. — Запоминайте дорогу! Пока светло... Займу вам места! Запоминайте...

Она побежала напрямую под светом керосиновой лампы, повисшей в воздухе. И скрылась. Провалилась в траншею.

— Кто... это? — спросил Ивашов, который был не рядом, но которого все слышали. — Кто?!

Откололся еще один кусок земного шара. Взлетел, оглушив нас. Осветительная ракета, не мигая, висела в воздухе.

— В траншеи! — скомандовал Ивашов.

Я схватила маму и Лялю за руки. Мы побежали к Маше, занявшей для нас «места».

Она лежала недвижно... накрыв голову лопатой, как советовал бригадир.

И голова и лопата немного зарылись в землю.

«На юге не была. На пляже не загорала...»

## 5

Война не дает права сосредоточиваться на личном горе: если бы все стали плакать!..

Горе, как не пролившаяся из раны кровь, образует сгусток, который может впоследствии разорвать человека, уничтожить его. Но о том, что будет впоследствии, думать нельзя. Некогда... И опасно. Война, решая судьбы веков, внешне живет событиями данного часа, только это минуты.

Уже утром стало известно, что строители под руководством «главного» должны, минуя Москву, отправиться на Урал. Государственный Комитет Оборона так решил.

Ни на чем, случившемся вчера, война задерживаться не разрешала. Был приказ... Но Ивашов нарушил его.

— Я отвезу ее к родителям, — сказал он. — Будет самолет... По пути на Урал приземлится в Москве. Вот таким образом.

— Это не запланировано, — вставил главный инженер.

— Война ничего подобного не планирует... А мы остановимся в Москве. Кто бы ни возражал. Слышите: кто бы! Я отвезу ее к родителям. Только вот таким образом.

— Как же вы сумеете... Иван Прокофьевич? — прошептала мама. — Если бы мне привезли... Это невозможно себе представить!

Когда-то мама была подругой его жены — и потому позволила себе сказать:

— Я тоже полечу. Вам одному будет трудно. Вы к этому не приспособлены...

— Она погибла из-за меня,— медленно и твердо произнесла Ляля.— Это я ее сюда... И тебя, Дуся. И вас, Тамара Степановна... Вполне можно было не ехать.

— Нет, это я сказала: «Тогда и мы с Машей поедem». Вспомни... И ее маму я уговорила. Не ты, а я! Можно было не ехать?..

— Всего, что сейчас происходит, прекрасно было бы не делать, если бы не война! — перебил Ивашов. — Вы не смеее приписывать себе е е преступления и кошмары. Так что выбросьте из головы!

Он положил руку на голову дочери, из которой горестная мысль — я это видела — никогда уже уйти не могла.

— Иван Прокофьевич, оперативка ждет,— напомнил главный инженер. С виду он был похож на главного бухгалтера — сутулый, в пенсне (не все штатские успели перестроиться, подтянуться), но по голосу, отрешенному от всего, кроме дел, заданий, приказов, напоминал начальника штаба. — Я должен сообщить по поводу эвакуации коллектива! Составы вот-вот придут.

Война заставляла смотреть только вперед: обернешься — и проглядишь, подставишь затылок.

Уходя, Ивашов сказал:

— Самолет сделает посадку в Москве. Я отвезу ее... домой.

— И я с вами, — повторила мама. — Вы к этому не приспособлены. Вот таким образом.

В решительные минуты она пользовалась фразой Ивашова. Обыкновенные, расхожие слова убеждали маму в ее правоте просто потому, что были е г о словами.

## 6

Это был последний Машин полет. Я думаю, он был и первым. Вместе с мамой и Ивашовым она высоко в воздухе обогнала наш эшелон и приземлилась в Москве, чтобы уже ни в каких случаях с нею не расставаться.

Когда мы, минуя столицу, добрались до Урала, Ивашов уже оказался там.

— А где...

— Пока что Тамара Степановна осталась с Машиной мамой, — перебил он меня. — Одну ее оставлять было нельзя. Муж уже на фронте.

— А дальше?

— Может, Тамаре Степановне удастся привезти ее сюда, к нам. Здесь, как на фронте, легче оглушить себя и забыться.

— Так много будет работы?

Удивляясь моей наивности, он обнажил верхние зубы, безукоризненно белые и до того крепко притертые один к другому, что мы

раньше, до войны, называли их — «враг не пройдет». Теперь эти слова прозвучали бы кощунственно.

Продолжая мысль о том, что здесь можно забыть обо всем на свете, кроме войны, Ивашов сообщил не мне, а скорей себе самому:

— Невыполнимо! Теоретически то, что нам поручили, невыполнимо. А практически — не выполнить нельзя. Вот таким образом. Парадокс военного времени.

## 7

В стройгородке Ивашову тоже предоставили квартиру. Двухкомнатную... И это ни у кого не вызвало зависти, удивления, хотя даже место в бараке считалось роскошью: многие жили в палатках.

— Когда я увижу тебя? — спросила Ляля отца, собиравшегося в стройуправление.

— Пусть Дуся и Тамара Степановна, когда вернется, живут с нами. Тебе не будет одиноко, — ответил он. И обратился ко мне: — Договорились?

— Если это удобно, — ответила я.

— Было бы неудобно, я бы не предлагал.

Это уже прозвучало приказом.

Машина за окном так резко рванулась, будто оторвалась от земли, — и умчала его.

— Я убила Машу, — повторила Ляля. — Она из-за меня поехала... на те оборонительные сооружения. И именно ее... Почему?

— На войне таких вопросов не задают, — уверенно, потому что это была его, ивашовская, мысль, ответила я. Потом добавила: — Маше хотелось быть рядом с Ивашовым. Как и мне...

Я пыталась снять грех с Лялиной души.

— С ним — это значит со мной.

— Не совсем...

— Что ты хочешь сказать?

— Мы были влюблены в Ивашова. То есть Маша... Вот таким образом. Никуда не денешься, Лялочка.

Мама приехала через полтора месяца одна... С попутным эшелонем, проходившим мимо нашей станции; авиационный завод переезжал из Москвы куда-то в Сибирь.

О Машиной маме она виновато сообщила:

— Тоже ушла на фронт. — И с грустной иронией, адресованной себе самой, переначала слова песни: — Дан приказ ей был на запад, мне — в другую сторону.

— На фронт?! У нее хронический диабет...

— Кто сейчас помнит об этом?

— Смерть искать... ушла?

— Смерть врагов! — ответила мама, предпочитавшая иногда жесткую определенность.

Она была из тех женщин, которым жизнь еще в школе объяснила, что на мужские плечи они рассчитывать не должны. Мама рассчитывала лишь на себя... И я стала такой, хотя ее плечи с младенчества казались мне по-мужски сильными, от всего способными заслонить.

Ляля не знала своей матери, а я не знала отца. Но вдруг наши семьи вроде бы увеличились: в стройгородке маму приняли за жену Ивашова, а меня стали считать Лялиной сестрой — кто родной, а кто сводной. Я объясняла, что мама всего-навсего подруга покойной жены Ивашова... Но объявить об этом по местному радио или напечатать в многотиражке я не могла.

Маминой профессии примоститься на стройке было решительно нигде: в мирную пору она работала ретушером.

— Лакировщица по профессии, — шутил Ивашов. — А в жизни любит определенность. Противоречие!

Свое «ретушерство» мама ценила, потому что в прошлое довоенное время она могла склоняться над чужими фотографиями круглые сутки — и вырастить меня без отца.

— Хотите, я возьму вас к себе? Секретарем? — спросил ее Ивашов.

Она, поневоле привыкшая к неожиданным, все-таки обомлела. Потом обрела силы засомневаться, неуверенно возразить:

— Скажут... семейственность.

— Какая же тут семейственность? Просто живем под одной крышей — и все. — Натываясь на бессмысленные препятствия, Ивашов становился неумолимым. — Семейственность? Тогда я решусь на большее: вы будете не секретарем, а моей помощницей! В помощники надо брать того, кто способен помочь. То есть единомышленника! Вы согласны? Скажут: «свой человек»? Но почему — мой человек должен быть плох для других? Будете помощницей.

— Есть общепринятые нормы... законы, — продолжала неуверенно сопротивляться мама.

— Во-первых, война многие нормы — и не только производственные! — пересмотрела. Но и в мирную пору законы ханжества я лично не признавал. Нарушал их и тогда... А уж теперь! Кстати, кто эти законы утверждал? Где они напечатаны, опубликованы? Кто вообще назвал эту отсебятину законами? Если же кто-нибудь по данному поводу обмакнет ржавое перо или поклонит карандаш... Вы это имеете в виду? (Мама кивнула.) Полной безопасности не гарантирую. Может случиться! Делибов, например, любитель подобного жанра... Любопытствует!.. Ему бы с такой фамилией уникальный, безукоризненный слух иметь, ненавидеть любую фальшивую ноту! А он...

— По профессии экономист, — вставила мама.

— Вот и пусть экономят человеческие нервы и силы.

— А почему он... заместитель по быту?

— Быт, мораль — это рядом. Но у меня на сей счет своя точка зрения: того, кто пулей, словом или там... грязной бумажкой бьет по своим, приставлять к стенке. Хотя бы к «стенке» позора! Так что вы, Тамара Степановна, назначаетесь помощницей. Решено!

Мы с мамой присели на диван. Одновременно... Ивашов не отрывался от чертежа, который, подобно скатерти, накрыл собою стол и свешивался по бокам.

Ему показалось, что он не преодолел сопротивление до конца. И он оторвался от своей «скатерти».

— На поле битвы для склок и интриг не может быть места. Впрочем, они всегда на руку негодяям. Мне нужен преданный человек. Вот таким образом!

— Хорошо... — не решаясь на твердую определенность, проговорила мама.

Она согласилась не расставаться с ним почти круглосуточно. И я бы согласилась. Не задумываясь! Мечта, казавшаяся маме несбыточной, вдруг сбылась. «Не было бы счастья, да несчастье помогло!» — это впрямь было прийти в голову, если б несчастье не было таким беспощадным, таким невообразимым, как война.

## 8

— В энциклопедии о Маше уже не напишут, — сказала мама, когда мы остались вдвоем. — Я обманула ее родителей.

— Война обманула, — ответила я с той же жесткой определенностью, которая иногда была свойственна самой маме.

— Но вот... остались три тетрадки стихов. Ты ведь коллекционируешь ее творчество?

— Коллекционировала.

На край стола безмолвно легли тетради в обтрепанных обложках: Маша на бессмертие своих произведений не рассчитывала. Потом мама передвинула тетрадки в центр стола, чтоб не упали. И ушла на работу.

На обложках я увидела даты каких-то спортивных соревнований, час консультации по физике... К чему было все это?

В третьей тетрадке стихи были короткие: уже началась война. На предпоследней странице я прочла всего несколько строк:

Невзгоды

между ним и мной...

И годы

между ним и мной...

В уголке была, как положено, дата: 1941 г.

Хорошо, что мама, которая привезла тетради, не видела этих строк.



Многие продолжали считать маму женой Ивашова... Живут в одной квартире — значит, жена. Не пойдешь ведь с объекта, расположенного, допустим, за пять километров от управления, изучать анкеты в отделе кадров. К тому же война не позволяла сосредоточиваться на таких мелочах — она была выше склок. Так уверял Ивашов. И я была с ним согласна. Взял помощницей жену?.. И что здесь такого? Лишь бы новые цеха подводились под крышу вовремя. День в день! Выполнять планы досрочно было так же нелепо, как невозможно пробежать дистанцию быстрее, чем позволяет какой-нибудь самый совершенный человеческий организм. Все участники марафона по выполнению невыполнимого должны были достичь финиша в срок.

«Передайте, пожалуйста, своему супругу...» — иногда говорили маме. И она пропускала эти слова мимо ушей, с преувеличенным вниманием вдаваясь в суть дела: она лишь год в своей жизни была замужем — и опровергать заблуждения ей в данном случае не хотелось.

В первый день, вернувшись с работы, мама сказала:

— У него на столе, под стеклом, портрет Маши Завьяловой.

— Помнит ее! — воскликнула я.

— Он мстит за нее. — Мама вернулась к своей жесткой определенности. — И себя, к сожалению, не щадит.

Она вслед за ним тоже себя не жалела: часов в семь утра надевала ватник и спечовку, которые полагались на стройке всем, как шинели солдатам. А возвращалась около двенадцати ночи.

— Ивашов прогнал меня домой, — часто повторяла она, точно извиняясь, что бросила его одного где-то на огневом рубеже.

Ивашов месяцами ночевал у себя в кабинете.

— Сон военного времени! — Мама безнадежно махала рукой.

Бригадирам ударных объектов удавалось засыпать лишь стоя, на полуслове... Ивашов не считал себя вправе отличаться от них. Кроме того, ему по ночам, как шепотом сообщала мама, звонили «с самого верха».

Неожиданно он заскакивал домой на часок, чтобы, сидя, вздремнуть и узнать, как дела. «На ревизию!» — говорила мама.

— Всё на нем, — жаловалась она. — Кирпич и столовая, бетон и больница, транспорт и ваша школа... Могу перечислять без конца. А ведь кое-чего я и не знаю. — Она приглушала голос. — Или знаю, но унесу с собой на тот свет. Есть военные тайны... Я же, представь себе, засекречена. — Вздрогнув от этого слова, мама вернулась к Ивашову. — За все отвечает!

— А другие? — спросила я.

— Тоже выбиваются из сил,— объяснила она.— Но он, как командующий фронтом... или армией, должен координировать, объединять. Понимаешь? Необходимо взаимодействие!

— Ему подчиняются?

— Если кто-нибудь говорит: «Будет сделано! Любой ценой! Не считаясь... По законам военного времени...» — он начинает сердиться. Как там, на укреплениях... И объясняет: «Для нас закон военного времени — противление злу. Мы не будем призывать зло и жестокость, чтобы с их помощью громить зло и жестокость. Нам их помощь не нужна! Можно считаться с необходимостью, с безысходностью... Но в крайних случаях! Даже в самых нечеловеческих условиях войны постарайтесь остаться человеком... Прошу вас. А о выполнении приказа завтра мне доложите. Вот таким образом».

— И выполняют?

— Чаще всего. Но за него я боюсь.

— В каком смысле?

— К его сверхъестественным перегрузкам добавляется еще одна обязанность... едва ли не самая трудная на войне!

— О чем ты?

— Как он сам говорит, «в нечеловеческих условиях оставаться человеком»! Такие, как он, не нарушают, а у т в е р ж д а ю т законы, ради победы которых происходит сражение.

Поскольку речь шла о достоинствах Ивашова, маме трудно было остановиться.

— Почему Машин портрет... там в кабинете, а не здесь? — внезапно для себя самой поинтересовалась я.

— Из-за Ляли, наверно...

Ляля ни на минуту не расставалась с противотанковым рвом, на дне которого Машу настигла взрывная волна. Эта волна захлестнула, накрыла собою все Лялины мысли.

Она передвигалась бесшумно. Мы с мамой не сразу замечали ее. А заметив, что она вошла в комнату, неловко, несогласованно умолкали.

— Ивашов во время оперативных планерок, совещаний выходит в приемную и спрашивает: «Как Ляля?» — рассказала однажды мама,— я отвечаю ему: «Хорошо». Но он резко возразил мне однажды: «Сейчас никому х о р о ш о быть не может. Это противостоит! Пусть будет не слишком плохо». И подчеркнул: «Она у меня одна». Это накладывает на нас с тобой, Дусенька, большую ответственность. Понимаешь? Как он выдерживает?

«Подчеркнул... накладывает ответственность... Откуда такие слова?» — думала я.

Свое отношение к Ивашову мама должна была скрывать, «ретушировать». Вот откуда порой появлялись эти обесцвечивающие слова. Они были ее прикрытием.

— Прямо так и сказал про Лялю: о д н а? А... мы? А строитель-ство? А ты?

— Это совсем другое! Ляля катастрофически выглядит. Как он выдерживает?!

— Но ведь ты ему помогаешь?

— Кто я такая?! Стремлюсь, конечно, кое-что ретушировать, сглаживать. Вы сами, говорю строителям, разберитесь, без него. А они отвечают: «Без него невозможно!»

Мне было приятно, что без Ивашова обойтись на стройке нельзя.

— Ты чему улыбаешься? — воскликнула мама, всегда педантично выдержанная. — Что тут веселого? Он ведь фактически... вне семьи. К быту не приспособлен. Забывает обедать!

— Напомни.

— Как? Каким образом?! Гоняться за ним по объектам? Я у телефонов сижу... Как возле орудий. В туалет боюсь выйти. Он говорит: «Ни на секунду не отлучайтесь!»

— Он и там с тобой... на «вы»? Жена — и «вы»... Люди не удивляются?

— Считают, наверное, что это политика: «Работа есть работа!» А другие просто не обращают внимания. Главный механик шепнул, что держать в помощниках жен сейчас правильно: боевые подруги!

Мама, я думаю, не возразила механику.

Ивашов врывался домой всегда неожиданно, на ходу, в коридоре сбрасывая шинель без погон. Каждое его появление было не только желанным, но и тревожным: «Что там случилось?» Подобно тому, как вставало в окне солнце после непроглядной ливневой ночи или как, наоборот, летним днем начинал маленькими шариками, похожими на нафталинные, падать в траву град... Он не здоровался, а сразу переходил к делу, будто мы расстались с ним час назад.

— Что с Лялей? — спросил он, сбросив в коридоре шинель и убедившись, что я одна.

— Стараюсь уверить ее, что она ни в чем...

— Ложью помочь невозможно, — отрезал он. — Ляля поехала из-за меня. Как дочь... Это естественно. А Маша потянулась за ней. Как подруга... Вот и получается!

— Маша не за ней потянулась, — посмела возразить я. — Она бы все равно поехала... и без нее.

— Почему?

Я достала последнюю тетрадку Машиных стихов, вырвала страницу, на которой было всего несколько строк, и протянула ему.

— Что такое?

Он прочитал... Положил листок на стол. Стремительно, не целясь в рукава, нацепил в коридоре шинель. Потом вернулся, сложил листок пополам. И сунул в боковой карман френча.

Навсегда я запомнила вечер, когда мама вернулась домой раньше обычного.

— Ивашов сказал: «Раз уж нас так хотят обвенчать, не будем сопротивляться! Сейчас было бы странно: война, а начальник строительства женится. Отложим до дня победы». Между прочим сказал, проходя через приемную. И уехал на дальний объект.

— Он сделал тебе предложение?!

— Не знаю, — ответила мама. Но на следующее утро надела вместо ватника свое пальто мирного времени с меховым кроличьим воротником. А вместо спецовки платье.

## 9

Я поняла, что возместить Ивашову утрату жены своими заботами и вообще с о б о й стало главной целью маминой жизни. Она мечтала о победе, грезила ею, боролась за нее еще одержимей, чем прежде. Но при этом исчезли, растопились в ожидании женского благополучия мамина педантичность, ее стремление к жесткой определенности. Резкость и мужественная готовность к самозащите уступили свои позиции если не мягкости, то уж, во всяком случае, плавности и готовности обратиться за помощью. Конец войны виделся ей началом семейного счастья, которого она никогда не знала.

Плацдарм для борьбы у нее, конечно, был незначителен: приемная с телефонами. Но она старалась вникать в каждый звонок и не просто «соединять» Ивашова, а с о е д и н я т ь стройконторы, участки, объекты. И помогать людям расслышать друг друга сквозь грохот войны, который не только доносился до нас, а завладел стройкой и отучил от всех других звуков.

Приехав как-то на часок отдохнуть, Ивашов сообщил Ляле и мне:

— Я сделал Тамаре Степановне предложение. Считаю его рационализаторским, ибо оно улучшит строительство нашей дальнейшей жизни. И общей семьи! В послевоенный период... Сейчас бы меня не поняли: война, а командующий затеял свадьбу! Можно и без официальщины, конечно. Но в этом случае я — за нее: должны же быть у людей праздники! Вот таким образом.

Ляля не возревновала отца, ибо мамы своей не знала. И думала она об ином...

Уже после, когда наступила победа, я узнала от врачей, что очень опасно сосредоточиваться на одной, будоражащей, изнутри сжигающей мысли. Особенно же сосредоточиваться молчаливо, когда признаков пожара, происходящего в душе, не видно — и никто не приходит на помощь. Ляля не могла постичь, как это Маша ушла из жизни, а жизнь продолжалась... Она никому об этом не говорила, но я чувствовала, догадывалась. Увы, не всегда... И чем больше проходило дней с того вечера, когда в школе, в которой не было детей,

состоялся концерт... тем тише становилась Ляля, угрюмее. Мне было стыдно, что скорбная дума о Машиной гибели не поглотила и меня всю, до конца. Что я даже старалась отогнать ее, когда она ко мне вновь и вновь подступала...

Все же я неосторожно попыталась в который раз успокоить и Лялю:

— Сейчас тысячи погибают. Сотни тысяч! Каждый час, каждый миг...

И тут пламя прорвалось наружу:

— Как ты можешь?! Сотни тысяч... Но о каждом кто-то будет рыдать до конца дней своих. Я буду о Маше...

— Я тоже буду... Но ведь ты убиваешь себя.

— Пока что убили ее. А мы с тобой живы. И даже учимся в школе как ни в чем не бывало. Завершаем среднее образование!

Я не ожидала от нежной, женственной Ляли такого взрыва. Резкость мягкого человека особенно нас потрясает.

— Она могла бы стать великим ученым, — продолжала Ляля. — Актрисой могла бы стать, режиссером... Писательницей! Кем угодно. Она все умела! Сколько Менделеевых и Тургеневых, не успевших ничего открыть, ничего написать, останется на полях?.. На дне траншеи, наивно прикрывшись лопатой? Ты подумала? А ты запомнила, в какой позе лежала Маша? Как она раскидалась, прижалась к земле? Так спят малые дети, скинув во сне одеяло. И воины так ползут... по-пластунски.

Я, привыкшая сиять отраженным светом, я, из которой ничего выдающегося получиться не могло, почувствовала себя виноватой. И присмирела.

А поздно ночью в коридоре шепотом посоветовалась с мамой.

— Это очень опасно! — так же конспиративно, вполголоса всполошилась она. — Значит, Ляля не расстанется с картиной Машиной гибели ни на минуту, все время «прокручивает» ее в своем мозгу. Что же делать? — Мама без своей прежней отчаянности, а по-женски беспомощно просила у меня защиты. И так же призналась: — Кое в чем я была не права.

— Ты?

— Представь себе: когда умоляла тебя не жить чужой жизнью. А он только и живет для других. Чужая жизнь... Каждый погибающий отдает свою кровь за другого. Я не знаю, сколько погибнет в этой войне... Страшно себе представить! Но ведь у каждого есть мать, отец... такая вот, как Ляля, подруга. На сколько же надо будет умножить? На сколько умножить?!

Мама в коридоре, возле вешалки, с такой нежностью и с такой силой прижала меня к себе, точно боялась отпустить хоть куда-нибудь, хоть на миг.

Мы учились в десятом. Ивашов позаботился, чтобы в классах было тепло.

— В холоде знания застывают на лету, не успев долететь до нашего разума, — сказал он. — Учиться трудней, чем работать: по себе знаю. Не в военное время, конечно... Делать то, что уже умеешь, проще, чем приобретать это умение.

Помню, как он приехал к нам в школу. Объяснил тем, что путь в дальнюю стройконтору пролегал мимо школьного здания. Заскочил, значит, по дороге, случайно... Но осмотрел все классы, учительскую, коридоры и к нам на урок зашел в сопровождении своего заместителя по хозяйственной части и быту. Белая шея уже не наползала на открахмаленный воротничок, как молочная каша на края переполненной кастрюли. Френч уже не был тесен Делибову.

Директор школы Лидия Михайловна стала «управлять» всеми нами после того, как два ее предшественника ушли на фронт. Она не имела опыта руководящей деятельности — и потому особенно подчеркивала, что в курсе всех дел. Она была растеряна от обрушившихся на нее обязанностей и от неожиданности появления «главного». Стараясь скрыть это, Лидия Михайловна чересчур подробно и длинно перечисляла все наши нужды. Делибов записывал... А она через каждые две-три фразы повторяла:

— Я понимаю: война. И в целом мы благодарны!

— В этом классе учится моя дочь, — сказал Ивашов, не утаив этого факта, но и не задерживаясь на нем.

Лицо Делибова болезненно исказилось: он хотел бы сам оповестить, но не успел.

Мне «главный» издала помахал рукой — и на меня впервые обратили внимание. Я вновь засияла отраженным светом, на этот раз ивашовским.

Машиным светом я уже сиять не могла, а в Лялю никто не влюблялся. Лидия Михайловна несколько раз обращалась к ней с просьбами передать отцу что-нибудь относительно школьных завтраков или ремонта «гардеробного помещения». И опять повторяла: «В целом-то мы благодарны!»

Мальчишки к Ляле не подступались: она была угасшей, а женственность ее превратилась в усталость. Чувство несуществовавшей вины извело ее.

— Присмотри за ней, — попросил Ивашов. — Не нравится мне она. К врачам вести не хочу. А нам с Тamarой Степановной некогда... Вот таким образом. Присмотри!

Дома у нас бывали и торжества. Они устраивались, когда очередной цех завода-гиганта «вступал в строй».

— Странное выражение — «вступать в строй», — накрывая на

стол, сказала мама с трепетностью, какой я в ней раньше не замечала. — Какой же тут у нас... «строй»? Объекты раскинулись на необъятном пространстве!

И взглянула на Ивашова: он командовал необъятностью!

— Люди могут быть за тысячи километров друг от друга, а находиться в одном строю, — ответил Ивашов. И, продолжая какую-то свою мысль, не связанную с предыдущей, сказал, подняв рюмку: — Солдат никогда не называют генералами. А генералов солдатами именуют. Солдат, рядовой — самые высокие звания... Значит, за рядовых предлагаю... Что мы без них? Вот таким образом.

Это был тот редчайший случай, когда Ивашов ночевал дома.

Утром он предложил нам с Лялей:

— Давайте подвезу до школы?

— Не до самой, конечно... — сказала мама. — А то разговоры пойдут.

— Разве они на уральском ветру выживают? — удивился Ивашов.

— Выживают, — настойчиво ответила мама, которая ни разу не воспользовалась ивашовским автомобилем.

— Нам в другую сторону... — не без гордости сообщила я. — Мы уже двадцать дней работаем на объекте!

— Не учите! — приводя в порядок свои каштановые волны, спросил Ивашов.

— Мы работаем.

— У кого?

— Мы — «усановцы»! Так было напечатано в многотиражке.

— Пропустил... Оторвался от прессы. На объекте Усанова, значит? Лидия Михайловна знает об этом?

— Сама участвует! Но по утрам она в школе: возится с малышами, — ответила я.

— А ты... что же молчала? — обратился Ивашов к дочери.

— О чем? — спросила она.

Он на мгновение затих, пригляделся к Ляле. Потом снова ожил:

— Придется довести вас до самой школы, нарушая законы педагогики и демократии. Поехали!

Лидия Михайловна любила нас: знала, у кого на фронте погиб отец и как его звали, у кого брат и как его имя, у кого пока еще, слава богу, никто не погиб.

Но свои директорские обязанности она выполняла как-то стыдливо, точно мы, старшеклассники, и она сама в том числе, были до некоторой степени «дезертирами».

— Мы должны вносить свою лепту! — провозглашала она.

После уроков старшие классы разгружали вагоны и загружали их. Мы раскидывали лопатами снег, чтобы под ним не могли укрыться рельсы и шпалы.

Но это еще не было той «лептой», которую мечтала вложить в общее дело Лидия Михайловна. «Ивашов устроил для нас санаторий: горячие батареи, столовая, чистота... Должны мы отблагодарить или нет? А в чем наша лепта?!» — восклицала она.

Лидия Михайловна тоже, видимо, хотела «оглушить» себя: муж и сын были на фронте. К тому же ее неопытность, боялась что-то упустить, недодать.

Начальник ближайшей стройконторы Усанов помог Лидии Михайловне...

И вот на пороге школы возник руководитель строительства. Мы с Лялей затихли в двух шагах от него, как адъютанты.

— Хотел довести их до школы... в порядке, разумеется, крайнего исключения, — с нетерпеливым спокойствием обратился он к Лидии Михайловне. — А везти-то, оказывается, надо было в другую сторону.

— Как можем, отвечаем на вашу заботу, Иван Прокофьевич.

— Та к отвечать на заботу вы не можете, — возразил Ивашов. — Не должны!

— Почему? Поверьте: это ваша доброта возражает... Ведь учащиеся ФЗУ и ремесленных училищ трудятся.

— Не трудятся, а вкалывают с утра до ночи, — опять перебил он. — Но у них есть профессия, квалификация! От их помощи мы, увы, отказаться не в силах... Подчеркиваю: увы!

— Но ведь вы, Иван Прокофьевич, сами говорили как-то о всеобщем противлении злу. Да и законы военного времени...

— Я понимаю: участие в общем деле, пример отцов и так далее. Я не иронизирую... Я поддерживаю это. Но сберечь для них то, что можно сберечь из мира детства, — это тоже противление злу и наша с вами «лепта», Лидия Михайловна!

— Вы читали, что детям... не старшекласникам, а именно детям на фронте дают звания Героев, ордена и медали? — Лидия Михайловна с трудом распрямилась, как будто у нее болела поясница.

— Сядьте, — попросил ее Ивашов.

Она села.

— А вы заметили, Лидия Михайловна, что в указах ребят называют по имени-отчеству, как взрослых? Этим подчеркивают, что не детское дело они выполняют. Страна с благодарностью и со слезами их награждает. Гордятся, но и страдая, делает это. Вам понятно? Усанов же бодренько мне рапортует: «Обойдемся своими силами!» А обходится в а ш и м и. И вы, я вижу, ликуете. Но детство и отрочество — это та единственная весна, которая никогда в жизни не повторяется, Лидия Михайловна. Приходится ее иногда отбирать... Идем и на это. Но в исключительных случаях. В исключительных!

— Это как раз... — хотела объяснить она. Но Ивашов, столь внимательный к женщинам, оборвал:



— Вы знаете, что за работа на участке Усанова? Там квалификация нужна. Сложнейшая квалификация. А технику безопасности ваши девочки и мальчики изучали? Нет? Это же преступление! Там ведь на каждом шагу написано: «Опасно для жизни!» Я хотел подбросить Усанову кое-что из, так сказать, «резервов главного командования». А он бодренько рапортует: «Обнаружили скрытые внутренние резервы». О детях так нельзя говорить, Лидия Михайловна. Это цинизм... Они не скрытый, а главный наш резерв, наше с вами, как говорится, грядущее. И правильно говорится! А у него-то самого, у Усанова, есть кто-нибудь?

— Сын в пятом классе учится.

— Он и его небось на передовую бросил. Чтобы вдохновить личным примером!

— Я не пустила: маленький еще...

— И правильно сделали. Пока могут учиться, пусть учатся.

— И десятиклассники?

— И они! Тем более... Уже на самом пороге! Чем могут, они помогают. И хватит... Вообще добро не должно сникать от ситуаций, которые создает зло! Особенно, если дело касается детей. Вот таким образом.

— Но законы войны требуют...

— Нашим с вами законом, Лидия Михайловна, должен быть гуманизм. Вот это — «любой ценой». А поперек бесчеловечных законов войны мы должны стоять, пока можем. Если придется отступить, что поделаешь? Отступление на фронте возможно... Временное!

Лидия Михайловна подошла совсем близко к Ивашову, дотянулась до уха. Но я расслышала:

— Неприятно сообщать. Но разговоры тут всякие ходят.

— Где х о д я т? — громко, отвергая секретность, изумился он. — Где они ходят? По территории стройки? У нас же закрытая зона!

Она вновь дотянулась:

— Противно передавать... Но некоторые намекают, что вы десятиклассников особо оберегаете, потому что...

— Изобретатели! — воскликнул Ивашов и расхохотался, обнажив свои верхние зубы — «враг не пройдет!» — Их в БРИЗ, то есть в бюро рационализации и изобретательства, надо направить. Такое, можно сказать, открытие сделали: Ивашов свою дочь любит. А кто из нормальных людей не любит детей своих?

— Вы... как Ушинский,— восхищенно глядя на Ивашова, пролепетала Лидия Михайловна.

Все женщины, к сожалению, взирали на него так.

— У Ушинского-то, кажется, со своим собственным сыном не все выходило благополучно. Заботиться о чужих детях иногда легче, чем о собственном произведении.

Он взглянул на Лялю. Притянул ее к себе.

Потом поправил френч, который был в полном порядке. Успокоил ладонью каштановые волны на голове.

— Еще раз хочу сказать, Лидия Михайловна: я нарушаю только те законы, которые нельзя назвать нашими. К примеру, закон, который хотела бы навязать нам война: безразличие к цене человеческой жизни, даже детской! Сражаться с бесчеловечностью, следуя бесчеловечным законам, — это кощунство. Поддаться «правилам», которые подсовывает враг, — значит, изменить себе. Мы с вами не способны на это.

— Не способны, — согласилась она.

— Инициативу вашу, Лидия Михайловна, я отменяю. Усанова благодарности лишь: своими руками надо жар загребать. Но уж по крайней мере не детскими! Не считая, конечно, исключительных обстоятельств. Крайних случаев!..

## 10

Крайний случай не заставил себя ждать...

Первая осень на Урале оказалась безантрактно-дождливой: дождь был то прямым, то косым, то грибным. Но всегда черным... В воздухе, как после гибельного пожара, кружила гарь, валившая из труб ТЭЦ, словно из пробудившихся вулканов. Она перемешивалась с дождем. По лицам текли черные струи, как будто в магазинах продавали тушь для ресниц и все ею воспользовались. В коротких промежутках между тяжелыми ливнями гарь продолжала кружить над стройкой черными парашютиками.

Потом грянул мороз. Зима на Урале выдалась оголтело холодной. На улице трудно было дышать.

Однажды мама примчалась с работы в панике, растерзанная, забыв о своем внешнем виде, о котором она теперь ни на минуту не забывала.

— Я подслушала телефонный разговор!

— Тише, — попросила я ее: подслушивать телефонные разговоры было опасно.

Мама, навсегда расставшаяся со своей былой педантичностью, продолжала прерывистым шепотом:

— Я случайно... Соединила его, хотела проверить, снял ли он трубку... И вдруг слышу: «Если цех к воскресенью не сдадите, ответите головой».

— Что это значит? — спросила я.

— Он стал объяснять, что морозы ударили раньше времени. Но там повесили трубку.

— Все правильно, — объяснил нам Ивашов, заскочив домой «на ревизию». — Фронт пошел в наступление — значит, и тыл должен! К воскресенью надо сдать цех: оборудование привезли. Теоретически невозможно... Но практически необходимо. Людей не хватает? Найдем! Вот таким образом.

— Где вы их найдете? — спросила мама.

Ему пришлось обнаружить их у нас в школе.

Лидия Михайловна сразу откликнулась.

— Понимаю... Исключительная ситуация! Мы не можем быть в стороне. Мобилизуем старшеклассников. Оденутся потеплее. Не волнуйтесь, Иван Прокофьевич!

— Если бы мой самый любимый писатель... — начал Ивашов. И поправился: — Если бы мой самый любимый прозаик... — Технические расчеты приучили его к абсолютной точности. — Если бы он был жив, то одобрил бы, я думаю, противление т а к о м у злу насилием... даже с участием школьников. Он не видел и не представлял себе возможность т а к о г о зла.

Цех, который мог стоить Ивашову «головы», достраивался на лютном холоде. Раствор готовили тут же: при перевозке он бы застыл.

— Все равно застывает! Убыстрите кладку. Не схватывает он кирпичи. Не схватывает! — услышала я за спиной голос, в котором уловила что-то отдаленно знакомое. Но изменившееся... Как если бы исполнили знаменитую песню, но фальшивя, меняя мелодию.

Это был бригадир с оборонительных укреплений. Только в голосе сохранилось что-то прежнее, а лицо, некогда пухлое, розовощекое, даже на морозе, утонув в шапке, было сероватым, костистым. Куда девалась мальчишеская самоуверенность? Он был фанатически одержим одной целью: чтобы раствор не застывал, а схватывал кирпичи, намертво соединял их друг с другом.

Мы выполняли обязанности разнорабочих: подносили заиндевелый кирпич, разгружали грузовики, расчищали для них дорогу. Убирали снег, почему-то не укрощавший мороза, но заполнявший сугробами внутренность будущего цеха, который без крыши был, как без головного убора.

Я повернулась к бригадиру.

— Здравствуйте!

Он не вскрикнул: «Откуда вы? Как хорошо, что мы встретились!», — а кивнул, точно давно знал, что мы здесь. Война отучила людей изумляться: столько всего навиделись!

— А во-он... Ляля, — сказала я.

Он поглядел в ее сторону, но не узнал. Она, как и бригадир, не просто изменилась, а стала другим человеком.

Я вспомнила кем-то сказанные слова, что к холоду привыкнуть нельзя. Закрывать варежками лицо я не могла: то носилки были в руках, то лопата, то тачка. Лоб стянуло, он онемел. Щек вообще не было...

Цех только достраивался, но мы уже видели, что он растянулся не меньше чем на полкилометра. Бригадиров, прорабов было много — и как это мы оказались рядом со своим бывшим начальником? Впрочем, жизнь на неожиданности щедра.

Бригадир извелся, но стал мне от этого понятнее, ближе.

— Никаких перекуров! — складывая рупором рукавицы, орал он. — Никаких остановок!

А сам на третий день подошел и, отвлекшись от дел, спросил:

— Неужели это дочь Ивашова?

— Она...

Тогда он направился к Ляле. И уже заставлял ее все время быть возле себя. Бригадир не был влюблен в нее, как в те роскошные летние ночи, которые, словно многоцветные маскхалаты, скрывали от нас опасность войны.

Теперь он жалел Лялю. Только жалел, неизвестно каким образом находя для этого душевные силы.

— Раствор не схватывает, как надо! Не схватывает, — повторял он. — А вы обе... пойдите в контору, погрейтесь.

Его доброта распространялась и на меня.

— У Гайдна действительно всего сто четыре симфонии, — признал он свою ошибку. — Впрочем, какое это имеет значение? Симфонии, оперы...

Значение имел только цех, который должен был «вступить в строй» к воскресенью.

Ивашов и сам с объекта не уходил. Заканчивали кладку последней стены. Под нашими ногами уже был застывший цемент, называвшийся полом. Сверху натягивали на цех «головной убор».

Ивашов отдавал приказы негромко, будто советовал. Никакой нервозности не проявлял. «Паника, хоть и криклива, все притупляет, лишает зрения», — вспомнила я его давнюю фразу.

Я слышала, как он сказал бригадир:

— Люди и так понимают. Вздвигивать их не надо.

«Ответите головой...» Было похоже, что за голову свою он не боялся.

Нас, старшеклассников, начальник строительства выделял. Работа не прекращалась ни днем, ни ночью, а нам Ивашов негромко советовал:

— Пора домой. Хватит.

Я ни на миг не забывала о маме: как там она, на своем КП, без командующего, среди неумолкающих телефонов? Скучает, кроме всего прочего... И ждет конца войны, как начала незнакомого ей семейного счастья!

Вываться в цех, даже на минуту, она не могла — и от этого ей, наверно, было труднее, чем нам. И голова Ивашова была ей гораздо дороже, чем всем остальным.

К воскресенью не успели закончить крышу. Но шестиколесные машины с оборудованием стали медленно, как бы оторопев от любопытства, въезжать в цех.

— Надо было сколоть лед,— сказал бригадир.— Буксуют...

И направился к воротам, чтобы предупредить шоферов: «Осторожней!»

Ляля по привычке пошла за ним.

Все, кроме кровельщиков, работавших наверху, собрались встречать крытые шестиколесные грузовики. Никто не провозглашал лозунгов в честь нашей победы.

Я подошла к Ивашову.

— Почти успели,— сказал он.— Вот таким образом.

Одну из машин на льду занесло в сторону, она ткнулась бортом в стену. Мне потом рассказали об этом. А в то мгновение я лишь увидела, как стена качнулась... Качнулась стена! И рухнула. «Раствор не схватывает, как надо...» Посыпались кирпичи.

— Люди... Там люди! — услышала я чей-то крик.

Ляли и бригадира не было. Все застыли... Стена накрыла их собой. Погребла.

Ивашов тоже остался на месте. Только сорвал с головы ушанку. Как, каким образом мороз и снег проникли туда, под мех? Голова была белая.

\* \* \*

Было сказано: еще полгода, годик... А прошло около четырех лет. Но так надо было сказать: мы жаждали обещания, что ужас не вечен.

И он кончился.

Мама открыла мне дверь. Квартира Ивашовых была убрана, и все было восстановлено, словно в музее, где когда-то жили дорогие всем люди. Или как в городе, залитом вулканической лавой, но потом обнаруженном и раскопанном... Все было точно, как прежде. Только окна мама не успела помыть и освободить от перечеркнувших их, неприятно пожелтевших бумажных лент.

— Его еще нет?

— Звонил из министерства. Получено новое задание. Восстанавливать!..

— А ты здесь, в квартире, с этой задачей уже справились? Вот тут, на столе, мы с Лялей и Машей разрисовывали стенгазеты. Верней, это делала Маша... Ты помнишь? Залезала с коленками на стул... Мы перешли в кухню.— Ляля здесь готовила ужин нам и отцу. У этой самой плиты. А я ими обеими восторгалась. Больше ни на что не была способна.

— Сегодня не надо об этом,— попросила мама.— Сегодня праздник! Их лица будут всегда с нами. Вот видишь, я повесила, как обещала тебе, рядом с фотографией Ляли-старшей... Какая красавица!

Мама никогда никому не завидовала, кроме здоровых стариков: если кем-либо восторгалась, значит, человек заслужил.

В тот день и она постаралась быть привлекательней: утром умудрилась попасть к «дамскому мастеру», известному ей с довоенных времен. Надела, попросив разрешения, мою кофточку, которая молодила ее, и повязалась легкой, грозившей улететь, как воздушный шар, косынкой, потому что именно шея беспощадней всего выдает женский возраст.

— Соседка с первого этажа сказала, что мы приползли из эвакуации. Знала бы она эту эвакуацию...

— Сегодня не надо об этом!

— Не надо, — согласилась я. И опять взглянула на портреты своих подруг.

— Возьми его рабочие карточки и тоже их отоварь. Я решила: праздник так праздник!

Разгрузив сумку, я помчалась опять в магазин... Постояла в очереди: всем хотелось отметить великий день.

А когда возвращалась, снова встретила женщину с таким лицом, будто она всю жизнь просидела в подвале. На левой щеке было круглое и выпуклое, словно сургучная печатка, пятно. В прошлый раз она, цепляясь за перила, поднималась из подвала — и пятна я не заметила. А тут уж точно вспомнила, что до войны она была почти молодой, белокурой и кто-то прозвал ее «миледи» из-за острого, недоброго взгляда, белокурых волос и отметины. Как и нашего бригадира, ее трудно было узнать...

— Еще отоварились? — проскрипела она мне вдогонку. — Все из эвакуации поползли...

Я тем не менее продолжала жить отраженным светом: на этот раз светом грядущего события в маминой жизни.

— Вся сияет... Постыдились бы! — еще раз докатилось до меня скрипучее колесо.

Ивашов уже вернулся домой.

— Сейчас будет салют. В честь нашей победы. Полной победы! — сообщила мне в коридоре нарядная мама.

Ивашов сидел возле стола, накрытого богато, как в мирное время. Впрочем, время и стало мирным... Но я не до конца, не вполне осознала это. Окна еще были перечеркнуты пожелтевшими полосками, как знаками умножения.

— Победили... Будет салют. Вот таким образом! — сказал Ивашов, стараясь быть только праздничным, точно и он слышал мамины слова: «Сегодня не надо об этом...»

— Внизу женщина... с родимым пятном сказала, что мы вернулись из эвакуации, — зачем-то сообщила я Ивашову. — Знаете, с первого этажа?

— Она живет в полуподвале,— поправил меня Ивашов.— Ее нельзя осуждать: сын и муж погибли на фронте.

Маша, Ляля и ее мама смотрели на меня со стены.

— Но мы победили! — продолжал Ивашов.— А раз так, я с этого часа... с этой минуты называю вас... тебя, Тамара, своей женой! Выпьем и за это, когда грянет салют. Вот таким образом.

Он поднялся и снова сел. Ожидая салюта, налил себе и нам с мамой.

«Все ее главные надежды сбылись!» — подумала я.

Вдруг за окном, за знаками умножения, оглушив нас взрывом, огромные деревья вскинули свои разноцветные ветви: красные, оранжевые, зеленые...

— Салют! — крикнула мама.— Сколько мы ждали его. Погаси свет...

Я погасила и стала считать залпы. Комната то озарялась, то погружалась во тьму. То озарялась, то погружалась...

Мама торжественно провозгласила:

— Выпьем за нашу победу стоя!

Мы с нею встали, подняли рюмки.

— Ваня! — обратилась она к Ивашову.

Он продолжал сидеть. Грянул последний залп. Ивашов не поднялся.

— Иван Прокофьевич...— еле слышно сказала я.

Мама подошла к нему в тишине, которая особенно ощущалась после салюта. Взяла его руку. Стала судорожно искать пульс. И не находила. Стала искать на другой руке...

Я онемело поднялась и включила свет. Черные струи текли по маминому лицу, будто снова гарь надрывававшейся ТЭЦ перемешалась с дождем. Мама всю жизнь готовилась к этому дню и покрасила ресницы. Ей хотелось... ей очень хотелось быть в этот вечер красивой...

— Лекарство... Он всегда носил...— с последней надеждой в голосе прошептала мама.

Мы стали нервно, беспорядочно шарить по многочисленным карманам френча, отглаженного, словно вчера сшитого.

Нашли листок, вырванный из тетради.

Мы опять попали под черный дождь... Война ушла. Но Ивашова она забрала с собой. Навсегда.

1980 г.

## НОЧЬ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

Почему их так долго нет? Спектакль, наверно, уже кончился. Почему же их нет? Опять шаги за стеной, на лестнице... Нет, не они. Тамариных шагов я еще не знаю, но Валеркины... Я привыкла ждать

эти шаги. С каждым годом ждать приходилось все дольше: сын вырослел. Сперва он взлетал на наш третий этаж, потом избегал, а теперь просто поднимается, пока еще не отдыхая на площадках между этажами.

Наша длинная старая комната с высоченным потолком разделена на две половины. Ожидая его, я всегда думаю: вот бы заснуть, а проснуться — и почувствовать, что он рядом, за фанерной перегородкой. Но ни разу я не уснула, не дождавшись его.

Ожидая, я обязательно представляю себе разные ужасы. Но ведь с Валериком никогда ничего не случалось. Почему же всегда я жду чего-то плохого? Вот и сейчас... Может быть, решили после театра пробродить по городу: ведь только сегодня днем расписались. Расписались... Странное слово. Но так говорят!

Кажется, к завтрашнему вечеру все готово. Хорошо, что взяла отпуск на три дня. А то бы ничего не успела. Но дело, конечно, не в отпуске: ничего бы я не сделала без Ленуси.

Лена, Ленуся... Мой добрый гений! И не только мой. Еще в школе мы всем классом списывали у нее трудные задачки. А если возникал конфликт с учительницей или происходило какое-нибудь недоразумение, она умела восстановить справедливость, и объяснялась, и хлопотала... За меня, за всех наших подруг. Сперва она помогала устраивать наши свадьбы, а теперь устраивает свадьбы наших детей. Но сама так и не вышла замуж. У нее не хватило времени: она сражалась за счастье своих подруг. И столько дала она нам бескорыстных и мудрых советов, что, может быть, ни одного не оставила для себя.

Гостей будет много. На день рождения можно кого-то позвать, а кого-то нет: не все же помнят, когда ты родился. Приходят самые близкие, которые помнят... Но свадьбу не скроешь ни от кого! Я не хочу, чтобы хоть один приятель Валерика на него обиделся. Я люблю этих приятелей за то, что они любят его. Всю жизнь я любила тех, кто хорошо к нему относился. Если какая-нибудь соседка говорила, что он красив или просто милый мальчик, она начинала казаться мне самой симпатичной во всем нашем доме. А учительница, которая на родительском собрании хоть мимоходом отмечала, что у него есть способности, становилась для меня самой умной и прозорливой. И Тамару я тоже люблю за то, что она любит Валерика. Нет, не только за это. Она добрая, справедливая... Но главное то, что она любит моего сына. Это самое главное.

Я не представляла себе, как все рассядутся в нашей комнате, разделенной на две половины. Где взять столько стульев, столько посуды?

— Так всегда бывает. Я это предвидела, — сказала Ленуся. — Мобилизуем общественность.

Она прошла по квартирам и договорилась с соседями: они дадут нам сервизы, столы и стулья. Я живу в этом доме сорок три года, но не



решилась бы ходить по квартирам. А Ленуся решилась. Ради меня. И никто ей не смог отказать. Ей отказать невозможно!

Друзья Валерика любят поесть. Они не требуют деликатесов: от недавних студенческих лет осталась эта непритязательность. Но давай им побольше! А завтра они все же отведают деликатесов. Я тут совсем ни при чем: над кастрюлями колдовала Ленуся. Она все умеет. И не требует помощи. А лишь время от времени спрашивает: «Попробуй, не надо ли перцу? Попробуй: кажется, пересолила?»

Да, у меня все готово. Вернее, у нас с Ленусей. Вот только подарок не успела купить. Но ничего: завтра Ленуся поможет. Она ведь точно знает, что лучше всего дарить к именинам, что к свадьбе, а что к годовщине свадьбы. Может быть, стыдно так много перекаладывать на ее плечи, на ее мудрый житейский опыт? Но иначе я не могу. Мне кажется, она мысленно пережила все ситуации и конфликты, какие только возможны, пережила, чтобы понять и иметь верный совет на все случаи жизни. Для меня и моих подруг. Лена, Ленуся! Наш добрый гений...

Почему же они не идут? Так поздно... Вот поднимается сосед с четвертого этажа, отдыхает на каждой ступеньке: у него был инфаркт. Сейчас он гулял перед сном. Возвращается к ночным «Последним известиям». Значит, двенадцати еще нет. За долгие годы, ожидая Валерика, я изучила походку всех наших соседей. И даже их привычки.

Я вижу Колин портрет. Темно, но я его вижу. Там, на столе... Валерик не помнит отца: он ушел на войну, когда сыну было два года. Он погиб — и потому навсегда остался моим мужем. Для Валерика он герой. Только герой, как Чапаев или Котовский...

Валерик не помнит отца отцом. А я помню мужа, который бы, наверно, ушел от меня, если бы не война... Как это произошло? С чего началось?

Я помню те первые Колины фразы, которые насторожили... Знакома меня со своими приятелями, он сказал: «Она работает в области экономики». Я же, как и сейчас, была бухгалтером.

С детства я привыкла советоваться с Ленусей. Помню, она сказала:

— Не огорчайся. Мы с тобой, а это самое главное: друзья надежнее жен и мужей. А вообще я это предвидела. Так ведь всегда бывает при подобном соотношении сил... Нет, дело не в званиях: не в том, что он кандидат наук, а ты бухгалтер. Есть мужья, у которых звания повыше, чем у него, а жены всего-навсего домашние хозяйки. И ничего ужасного не происходит, потому что дома эти мужья просто мужья. Ученые же — особый народ! Многие из них и дома живут только своей профессией. Понимаешь, ж и в у т! А ты — в ином мире. Вы, я думаю, не сможете понять друг друга, как люди, разговаривающие на разных языках.

— Но ведь чужой язык можно выучить, — тихо сказала я.

А сама подумала: «Нет, я выучить не смогу. У меня на руках Валерик...»

Может быть, Коля сказал, что я тружусь в «области экономики», так, без какой-нибудь задней мысли? Но я после разговора с Ленусей стала приглядываться, следить за его отношением ко мне — я искала подтверждений ее словам и, конечно, их находила.

Мне казалось, Коля напряженно прислушивается, когда я разговариваю с его друзьями: боится, что скажу что-нибудь не то. Я стала избегать его знакомых. Он спрашивал, пойду ли я с ним в гости, а я отвечала, что как раз в этот вечер мне нужно взять Валерика из детского сада. И он привык всюду бывать без меня. Может быть, я сама его к этому приучила?

Я помнила слова Ленуси, что так бывает всегда «при подобном соотношении сил». Я верила этим словам. Они меня утешали: значит, иначе и быть не может. И бороться бессмысленно и ничего не надо предпринимать... раз так бывает всегда.

С войны Коля писал нежные письма. Но я понимала, что он писал их не мне, а родному дому, который издали, когда тяжело и плохо, всегда кажется желанным и дорогим.

А он и все не идет... Вот семенит по лестнице старичок из соседней квартиры. Он работает в ресторане официантом и приходит самым последним. Скромный, тихий такой старичок: всегда всем уступает дорогу, даже мальчишкам. Как-то не представляю его в костюме официанта, среди танцующих пар, среди джазовой музыки, под светом роскошных люстр... А не купить ли им люстру в подарок? В их половине, за фанерной перегородкой, есть только настольная лампа. Надо посоветоваться с Ленусей. Люстра как раз подойдет! Но почему же их нет? Если пришел старичок из ресторана, значит, уже за полночь. Может, куда-нибудь позвонить?.. Немного еще подожду.

Я не жалею, что больше не вышла замуж. Думаю, Валерик не пустил бы в наш дом никого чужого. Хотя одного человека он бы, пожалуй, принял.

Однажды к нам в управление приехал из Армении инженер, автор проекта. Звали его Гургеном. Шумный, веселый... И наивный такой: всему удивлялся. Все принимал как неожиданность и как радость: «У вас свое машбюро? Можно работу перепечатать? Это прекрасно!.. У вас есть своя столовая? Можно поужинать? Это здорово!.. У вас рядом троллейбусная остановка? Прямо напротив? Это замечательно!..» Слова он выговаривал как-то так, что приятно было его слушать, даже если он не произносил ничего особенного, и хотелось, подражая ему, тоже говорить с легким восточным акцентом. Все мы вдруг стали необычайно ценить свое учреждение, у которого было, оказывается, столько разных достоинств!

В те дни в нашем городе происходили какие-то конференции и симпозиумы, и получить номер в гостинице было невозможно. А директор наш знал, что у меня длинная комната, разделенная на две половины (он учился когда-то с Колей и бывал у нас). Он знал, что живем мы вдвоем с Валеркой, и попросил приютить Гургена хотя бы дней на пять.

Я согласилась.

Войдя в нашу комнату, он сказал: «Такие высокие потолки? Здесь можно летать! Это прекрасно!» Подошел к окну и воскликнул: «Какой превосходный вид! Прямо на улицу...» Мы с Валериком переглянулись: нам стало казаться, что мы — обладатели бесценных сокровищ. И даже то, что комната окнами выходила на улицу, откуда всегда доносился шум трамваев, троллейбусов, автомобилей, даже это стало казаться нам очень приятным.

Когда приезжали родственники из других городов, мы с Валериком сами ощущали себя как бы гостями, словно были в чужом доме: нарушался строй нашей жизни. Гурген ничего не нарушил. Он лишь добавил то, чего нашему дому всегда не хватало: у нас стало праздничнее.

Ленуся настороженно относилась к шуткам Гургена, к его восторженным восклицаниям.

— Восточное красноречие! — как-то сказала она. — Так бывает всегда: мы поддаемся этому застольному обаянию. Верим их громким словам, а потом они забывают, как нас зовут.

Однажды Гурген развесил по стенам ватманские листы и стал рассказывать нам о своем проекте. Мы, почему-то совсем не робея, делали разные предложения. Он записывал их в тетрадку, потом сказал:

— Строгие консультанты утопили меня в поправках. И вы беспощадны. Но это прекрасно: зато месяцев через шесть снова приеду в Москву! На окончательное утверждение.

Валерик вдруг улыбнулся, и я почувствовала: он рад, что Гурген снова приедет. Я тоже обрадовалась. И испугалась того, что обрадовалась.

В тот вечер он сделал мне предложение. Я ничего не могла ответить: мне нужно было посоветоваться с Ленусей.

— Я это предвидела, — сказала она. — Восточная пылкость и топорливость... Подожди и подумай. Не забудет ли он дня через три о своем намерении?

Он не забыл. Как раз через три дня прислал телеграмму. А потом и письмо. Он сообщал, что посоветовался с матерью и что она одобрила его выбор, хоть и не видела меня никогда. Но скоро увидит! Потому что я приеду с Валериком к ним... Жить мы будем вместе с его матерью и сестрами.

— Вот видишь, — сказала Ленуся. — Ты станешь рабыней в их доме. И я не смогу помочь: мы будем слишком далеко друг от друга. Мужчина, который не может жить без матери и советуется с ней по таким вопросам, не будет хорошим мужем. Это старая житейская мудрость... Но она, к несчастью, верна. А матери в таких семьях всегда тиранки. Им поклоняются, словно идолам. Особенно на Востоке. Поверь мне: всегда так бывает.

Я не решилась оставить свой дом и Ленусю. И написала об этом Гургену. Еще в шести письмах он звал меня, но я не поехала.

Чтобы поставить точку, мы с Ленусей послали Гургену холодный ответ, который был мне самой неприятен. Однако я помнила, что через полгода он вновь приедет со своим проектом. И очень ждала.

Он не приехал. Сказали, что болен. Но я знала: он не приехал из-за меня.

Его проект привезла какая-то женщина. «Она прелесть! — визжали чертежницы. — Просто очарование!..»

«Неужели так быстро женился? — подумала я. — Ленуся всегда права...»

Я пошла в проектный отдел. И увидела эту женщину. «Нет, не жена... — успокоилась я. — Должно быть, сотрудница их института».

Она была из тех женщин, к которым сразу испытываешь доверие. Даже чрезмерное... Словно к врачу, когда тебе плохо. Лицо, доброе и бесхитростное, располагало к откровенности и тех, кто вовсе ее не знал. Она угощала фруктами. И всех приглашала к себе отдыхать: у нее маленький домик. Но не просто так приглашала, не из приличия, а всем, кто хотел, давала свой адрес. «Напишите месяца за два, предупредите, — говорила она, — чтобы я смогла подготовиться». Девчонки-чертежницы, обожающие отдыхать «дикарями», записывали ее адрес в маленькие блокнотики.

А старому инженеру, страдавшему язвой, она обещала прислать удивительную траву, которая его непременно вылечит. Инженер, измученный болезнью и медицинскими советами, которые ему предлагали с разных сторон, всегда желчный и недоверчивый, благодарил, потому что не сомневался: она пришлет эту траву. И никто в этом не сомневался.

К начальству она не пошла: «Не умею с ним разговаривать». Попросила меня и чертежниц передать директору кальки и ватманы. И расписку с нас не взяла. Прямо так и оставила.

— Кто эта женщина? — спросила я.

— Мать Гургена. Того самого, который всем восторгался.

— Не может быть, — сказала я.

Все удивленно переглянулись.

Так вот какая она! Идол, тиранка...

И все-таки я ни о чем не жалею! Нет, ни о чем. Разве это не счастье: всю жизнь посвящать одному человеку? Сыну, Валерику... А теперь еще и Тамаре, дочери... Им обоим! Мы всегда будем вместе. Нет, я ни о чем не жалею.

Славу богу, идут! Не торопятся, разговаривают... А я представляла себе всякие ужасы. Почему мозг всегда работает в одном направлении?

На цыпочках прошли к себе, зажгли настольную лампу. Решено: подарю им люстру. Ленуся поможет мне выбрать.

Тамаре неизвестно, что у нас фанерная перегородка — и говорит она почти в полный голос.

— Тише, — просит ее Валерик, — маму разбудишь.

Прекрасно знает, что я не сплю! Ни разу в жизни я не заснула, не дождавшись его. Почему же он ее останавливает?

Тамара заговорила потише. Но я зачем-то все слышу. Валерик об этом не знает и больше не останавливает Тамару.

— Мы с тобой все-таки ни о чем не договорились. Два с половиной часа слонялись по улицам, но ничего не решили, — говорит она.

— Разве мы не успеем решить потом?

— У тебя прекрасная мать. Я к ней так привязалась!словно к родной... Но именно для того, чтоб эти чувства к ней сохранить, нам надо будет разъехаться. К родителям лучше всего ходить в гости. Тогда дружеские отношения сохраняются навсегда. Это же всем известно... Сначала будем снимать комнату, а потом построим свою. Когда сможем. Согласен?

Сын молчит. Может быть, я не слышу? Нет, я бы услышала. Он молчит.

— Значит, договорились? — спрашивает Тамара. — Так будет лучше для нас всех. Жить надо отдельно. Это старая истина.

О житейская мудрость! Откуда ты знала, что мы с Колей не сможем быть счастливы? И про Гургена... И остальное... Все-то ты торопишься! И твердишь: «Всегда так бывает... Старая истина...»

Но ведь бывает по-разному. Это тебе не приходит на ум? Так ли уж ты мудра, житейская мудрость? Ты очень жестока. Это мне ясно.

Нет, я не права! Конечно, им лучше будет вдвоем. Но только зачем же снимать комнату? А потом строить? Влезать в долги? Теперь я знаю... Теперь точно знаю, что им подарить! После свадьбы я отправлюсь к сестре, за сто километров отсюда. И буду ездить к ним в гости. И они будут ездить... Зачем же снимать комнату? Я просто уеду.

Но как сделать, чтоб они не обиделись? И не поняли, что я слышала?.. Как все уладить с работой? Это не так легко.

Может быть, посоветоваться с Ленусей?

1966 г.

## ДОМАШНЕЕ СОЧИНЕНИЕ

Когда Дима прочитал все, что создано в мировой литературе для его возраста, он принялся за книги, написанные для других возрастов.

— Почему ты не запираешь свой книжный шкаф? — спросила мама у папы.

— Запирать книги — это кошунство! — ответил папа. — Они еще никому не приносили вреда.

— А может, вообще отменить это понятие — «ребенок»? — спросила мама. — Раз в тринадцать лет можно все то же самое, что и в тридцать пять!

За справедливостью Дима всегда обращался к бабушке. В самый разгар родительских споров, касавшихся его судьбы, он с отчаянием в голосе произносил: «Ну, скажи ты!..» И спор немедленно обрывался: бабушка говорила так неторопливо и тихо, что к ее голосу надо было прислушиваться. Вступая в дискуссию, она чаще всего задавала вопрос, ответ на который таил в себе решение спора.

— В каком классе ты сама-то прочитала «Анну Каренину»? — спросила она у мамы.

— Не помню.

— А я помню. В шестом...

— Вот видите! — воскликнул Дима. — А я еще не читал!..

— Дети не обязаны повторять ошибки родителей, — отважилась возразить мама. — Книга, прочитанная не вовремя, может навсегда отбить вкус к себе самой.

— Это бывает, — согласилась бабушка. — Но ты не волнуйся... Я присмотрю.

Прежде всего Дима принялся за «Большую энциклопедию». Ему в голову пришла мысль, что, если прочитать эти тяжеловесные тома, написанные обо всем на свете, можно сразу стать всесторонне образованным человеком.

Осилив за десять дней том на букву «А», Дима перестал спать спокойно.

Радости и трагедии, открытия и сражения, происходившие в разные годы и эпохи, но словно бы объединенные начальной буквой своих имен, перемешались в голове, путались, насакивали друг на друга.

И все же Дима, вздохнув, принялся за второй том. Сначала он решил перелистать его, посмотреть картинки... И неожиданно остановился. Между 78-й и 79-й страницами лежал исписанный незнакомым ему почерком двойной лист, вырванный из обыкновенной тетрадки в линейчку: «Письмо 1970 году. Домашнее сочинение ученика 9-го класса «Б» Владимира Платова».

— Бабушка! — от неожиданности вскрикнул Дима.

— Что тебе? — раздался из другой комнаты бабушкин голос.

— Ничего... Я так просто. Хотел проверить, ты спишь или нет.

— К счастью, не сплю. А то бы ты меня разбудил.

— Прости, пожалуйста...

Дима решил сперва прочитать письмо сам. Судя по заголовку, ученик 9-го класса «Б» должен был адресовать его не человеку, а году. Однако первые же строки свидетельствовали о том, что ученик не вполне подчинился заданию учительницы...

*Дорогая Валя! Мария Никитична хочет, чтобы мы обращались к году, а я обращаюсь к тебе. К тебе, живущей в том самом году!*

*Прошло тридцать лет, как я написал это письмо. И вот ты его читаешь... Представь себе, что я стою рядом — вот здорово! — и разговариваю с тобой.*

*За это время произошло главное: я получил ответ на вопрос, который мучил меня в школьные годы. Дома, на уроках и переменках я думал: «Кого же она все-таки любит — Лешку Филиппова или меня?» Теперь я уже давно знаю, что ты любишь меня. А с Лешкой разговаривала на переменках просто для того, чтобы я немного поволновался. И еще потому, что вы оба занимались в литературном кружке. Это было единственное, что вас объединяло в ту далекую пору. Теперь уж я точно знаю...*

*Все эти тридцать лет я был ужасно счастлив из-за того, что ты любила меня, а не Лешку Филиппова! Хотя он хороший парень. (Теперь-то уж хороший пожилой человек!) Я сочувствовал ему все эти тридцать лет. Но что подлаешь, Валечка! Раз ты любишь меня... Тут уж ничего не поделаешь!*

*Никогда не думал, что мечты могут сбываться с такой математической точностью! Мы работаем с тобой в одной больнице — ты на одиннадцатом этаже, а я на десятом...*

*Сегодня мы вместе оперировали больного. Я позвал тебя на помощь, и ты спустилась ко мне. А потом мы оба спустились вниз, где ждала нас его мать, и сказали ей: «Все в порядке!» Она не поверила, зарыдала... А мы стали уверять ее: «Опасности нет. Опасности больше нет!...» Чтобы иметь возможность хоть раз сказать это, стоит жить на земле! Ты согласна?*

*Потом мы вернулись домой... Валя-маленькая, наша дочь, готовится к последним экзаменам в институте. Не знаю, в каком... Но это не имеет значения! А сын Сережа ушел на футбольный матч. Он вообще увлекается спортом. Тебе даже кажется, что чересчур. Похож на отца! Пусть хоть это послужит тебе утешением. Ведь ты любишь меня...*

На этом домашнее сочинение обрывалось.

— Бабушка! — крикнул Дима.

— Что тебе?

Дима молчал. Бабушка появилась на пороге... Говорили, что когда-то она была очень веселой. И даже любила петь. А потом стала тихой и, казалось, все время думала о чем-то одном. Думала, думала... Она стала такой в тот февральский день сорок пятого года, когда пришло извещение о гибели ее сына Володи.

Она всегда была уверена: единственное, чего пережить невозможно, — это гибель детей. Она и не пережила... Умерло ее веселье, умолкли песни, потухли глаза. И лишь через много лет, когда родился внук Дима, жизнь как бы вернулась к ней. Но не та, что была раньше, а совсем другая... Она стала бабушкой.

— Это... его сочинение, — сказал Дима. И протянул ей двойной тетрадный листок.

Бабушка прочитала. Потом еще раз... Потом еще. Дима ждал. А она все водила глазами по строчкам. И Диме казалось, что это не кончится никогда.

— А где эта Валя? — спросил он тихо.

— Валя Филиппова? Как и раньше... живет над нами, на шестом этаже.

— Филиппова?! — переспросил Дима.

— Ну да...

— Она вышла замуж за Лешку?

— Ее мужа зовут Алексеем Петровичем, — ответила бабушка.

— Это тот... который всем уступает дорогу в лифт, а потом сам не влезает? Какой-то чудак!

— Интеллигентный человек, — возразила бабушка. — И ее ты знаешь. Однажды, когда у тебя была высокая температура, мы позвали ее. Она сделала тебе укол. Помнишь?

— Еще бы! — Дима погладил себя по тому самому месту. — Она стала хирургом?

— Нет, педиатром.

— Кем?

— Детским врачом.

— И он тоже врач?

— Нет, преподает литературу. Кажется, в институте.

— Ну да... он же занимался в литературном кружке! А сын их такой высоченный и неуклюжий?

— Очень талантливый мальчик, — сказала бабушка.

— Откуда ты знаешь?

— Учится в аспирантуре. Его зовут Володей.

Когда начало темнеть, Дима спустился вниз и стал дежурить во дворе, возле подъезда. Люди возвращались с работы... Одни торопились так, будто дома их ждал какой-то сюрприз. Другие шли медленно, на ходу о чем-то размышляя, будто и не расставались с делами.

«Володя мечтал, что домой они будут возвращаться вдвоем... — вспомнил Дима. — Хорошо, чтоб сегодня она вернулась одна!»

Она подъехала на белой машине с красным крестом.

— Я только скажу моим мужчинам, чтобы не волновались — и сразу обратно, — сообщила она шоферу.

— Поешьте, — посоветовал он.

— Тогда, может, и вы?

— Я уж поел.

Дима вошел в подъезд вслед за ней и еле слышно, смущенно сказал:

— Простите, пожалуйста...

— Что с тобой? — спросила она с тревожным участием, будто предполагала, что он нуждается в медицинской помощи.

— Вам письмо!



— Мне?!

Он впервые разглядел ее, хотя лампочка над дверью лифта светила тускло.

Глаза были усталые и удивленные.

— Письмо?... Мне? — Она ткнула пальцем в пуговицу пальто, из-под которого виднелся край белого халата. На голове у нее была белая медицинская шапочка, которая — Дима это давно заметил! — очень молодой женщин-докторов и всегда им к лицу.

«Все еще красивая...» — почему-то с огорчением подумал Дима. И протянул ей Володино домашнее сочинение.

— Прочтите.

— Что это? — с озорным любопытством спросила она, словно ожидала какого-то розыгрыша.

— Это письмо. Прочтите...

— Только поднимемся к нам, — предложила она. — А то здесь темно.

— Нет, лучше тут... — возразил Дима.

Его голос насторожил ее. Она раскрыла чемоданчик и достала очки.

«Лишь бы никто не вошел и не помешал ей! — думал Дима. — Лишь бы никто...» Он даже привалился спиной к двери, готовый задержать непрошеного жильца.

Она сняла очки... Белая шапочка уже не так молодила ее. Она медленно пошла вверх по лестнице, забыв, что в доме есть лифт. — Скажите, пожалуйста... — срывающимся голосом крикнул вдогонку Дима. — Вы любили его?

Она обернулась.

— Вы любили его? — почти шепотом, изумляясь собственной храбрости, повторил он.

— Я любила его, — ответила она. Сделала несколько шагов, вновь обернулась и добавила: — И я ему навсегда благодарна.

— За что? — спросил Дима.

— За все, — тихо сказала она. — За все...

1972 г.

## НЕПРАВДА

Генка очень любил смотреть фильмы, на которые дети до шестнадцати лет не допускались. Он любил читать книги, на которых не было обозначено, для какого они возраста: значит, для взрослых!

И когда однажды по радио объявили лекцию для родителей, Генка решил, что эту лекцию ему непременно надо послушать.

Зазвучал скучный голос, к которому диктор прикрепил длинное звание — «доктор педагогических наук». Генка всегда старался представить себе людей, голоса которых он слышал по радио. Сейчас ему почему-то представилась сухопарая женщина в пенсне и в белом халате. Слово «доктор» очень подходило к ней, потому что каждая ее фраза звучала, как рецепт.

Первый рецепт был такой: «Чем больше ребенок читает, тем лучше он учится!» Генка даже испугался: он рос явно не по правилам. Если он изредка и получал двойки, так, пожалуй, только из-за книг. До недавнего времени Генка читал и за обедом и за ужином, используя в качестве подставки пузатую сахарницу, которая сперва важно подбоченивалась двумя тонкими ручками, потом — одной ручкой и, наконец, при Генкиной помощи стала вовсе безрукой.

Не подходил и другой рецепт: «Ребенок должен уважать родителей, но не бояться их!..»

А вот Генка своего отца одновременно и уважал и побаивался. Это отец первый объявил войну Генкиному «книгоглотательству». Он повел наступление по всем правилам военной науки. Сперва произвел разведку... И тут оказалось, что даже названия книг и фамилии авторов безнадежно перемешались в Генкиной голове. Он путал Купера с Куприным, а Станюковича с Григоровичем. И тогда в образовавшийся «прорыв» отец устремил главные силы.

Он тяжело опустил на стол руку, такую огромную, что вилки и ложки казались в ней игрушечными.

— Теперь мы будем читать вместе!

— Как — вместе? — удивился Генка. — Вслух, что ли?

— Не вслух... Но и не слишком «про себя». Брать книги ты будешь по моему совету, а потом будем устраивать дискуссии.

На первом этаже расположилась детская библиотека. Библиотекарша, добрая полная женщина по прозвищу «Смотри не разорви», доставала Генке книги, которые советовал прочитать отец. А за ужином начинался экзамен.

— Ты опять пропускаешь описания природы? — спрашивал отец.

— Я ничего не пропускаю, — оправдывался Генка.

— Не лги! Хуже всего, когда ты говоришь неправду. Ну, с чем, например, здесь сравнивается запах первого снега?

Генка ерзал на стуле. Ему хотелось сбежать на улицу и понюхать снег: может, он угадает, о каком именно сравнении спрашивал его отец.

— Писатель сравнивает запах первого снега с запахом арбуза! Это очень образно и очень точно. А ты это место пропустил!

Иногда в спор вмешивалась мама. Отец сразу же соглашался с ней. А мама начинала сердиться:

— Женщине только в трамвае положено уступать место. А в спорах эта вежливость ни к чему!..

Мама была машинисткой. Работу она брала на дом. Ей казалось, что отлучись она из квартиры на день — и случится что-то ужасное, произойдет какая-нибудь непоправимая катастрофа.

По утрам маме некуда было спешить, но вставала она раньше всех. Готовила завтрак отцу и Генке. Прощаясь с мамой, отец целовал ее в голову и говорил каждый раз одни и те же слова:

— До свидания, малыш мой родной!

А мама менялась в лице, краснела. И Генке начинало казаться, что она вставала так рано только для того, чтобы услышать эту фразу.

Слово «малыш» не подходило к маме: она вовсе не была маленького роста. Может быть, она казалась такой с высоты ста восьмидесяти восьми сантиметров могучего отцовского роста? Эти сантиметры были предметом особой Генкиной гордости. Но ведь сына, мальчишку, отец именовал строго и просто — Геннадием...

Они вместе выходили на улицу, вместе шли до угла.

Это было очень приятно — идти рядом с отцом: мама осталась дома, а они, мужчины, деловые люди, спешат, торопятся...

На углу они прощались — коротко, по-мужски.

— Ну, иди, — говорил отец.

А вечером Генка с нетерпением ждал возвращения отца. Он сразу узнавал его шаги. Отец поднимался так не спеша, словно, сделав шаг, раздумывал, идти ли ему дальше или, может, вернуться вниз. Один неторопливый звонок... Генке очень хотелось открыть отцу дверь. Но он чувствовал, что еще больше этого хочет мама. И он уступал ей дорогу. Отец вновь целовал мать в голову и говорил почти те же самые слова, что и утром: «Здравствуй, малыш мой родной!» Но звучали эти слова еще ласковее, потому что отец, видно, успевал сильно соскучиться за день.

Генка терпеть не мог нежностей. Но от слов, которые отец говорил маме, ему становилось как-то спокойно и хорошо...

Отец заглядывал маме в лицо.

— Какие у тебя глаза воспаленные! И зачем нам нужна эта трещотка? (Так он называл пишущую машинку.)

— Это не она — это все враги мои виноваты, — полушутливо оправдывалась мать. Своими «врагами» она называла неразборчивые почерки. Мама говорила, что даже по ночам ей снятся разные нечеткие буквы и особенно часто буква «т», которая гонится за ней по пятам на трех тонких ножках.

У Генки отец будто мимоходом спрашивал:

— Ну, как дела с науками?

Он никогда не заглядывал в дневник, чтобы проверить, правду ли говорит сын. И может быть, именно поэтому Генка не мог солгать. Если он приносил домой плохую отметку, то так прямо и говорил. Отец не поднимал шума. Генка не слышал упреков, но зато не слышал он в такие вечера и рассказов о спорте, о работе инженеров, которых отец, как и всех других людей, делил на «толковых» и «нетолковых».

Мама поступала совсем иначе. Она раскрывала дневник и глядела на злосчастную тройку так, словно читала трагическое известие.

Потом она шла к соседке, у которой дочь тоже училась в шестом классе. Начинался разговор, в котором имена Генки и соседкиной дочери ни разу не назывались: о нем говорили «наш», о ней — «моя».

— Наш-то сегодня опять троечку принес. А отец говорит, что это хуже двойки: ни богу свечка, ни черту кочерга, — жаловалась мать. Она любила повторять слова отца: они казались ей самыми верными и убедительными.

— Ну, уж не будьте слишком строги: ваш-то зато сколько книг проглотил! А мою не усадишь за книжку.

— Нет-нет, вы нашего не защищайте. Он мог бы прекрасно учиться: у него ведь такие способности!

— Так ведь и моя тоже способная!..

«И почему это все родители воображают, что их дети такие способные?» — недоумевал Генка. Мама еще долго вздыхала... Но молчание отца было для Генки куда страшней ее причитаний. И он в тот же вечер сел за учебники.

И только с одной Генкиной слабостью отец никак не мог справиться. Этой слабостью была его неистребимая страсть к кино. Кажется, если бы существовали кинокартины, на которые почему-либо не допускались люди моложе шестидесяти лет, Генка бы и на них попадал. Сидеть дальше второго ряда он считал непрослительной роскошью. Таким образом, на девяносто копеек Генка умудрялся сходить в кино три раза!.. Немного денег давала мама, а остальные он добывал в результате строжайшего режима экономии: в школе завтракал через день, в трамвае и троллейбусе ездил без билетов.

Когда Генка приходил домой возбужденный, с «отсутствующими» глазами, отец взглядом предупреждал его: «Не вздумай что-нибудь сочинять. Я прекрасно вижу, что ты был в кино».

А за ужином он, ни к кому определенно не обращаясь, задумчиво произносил:

— Сегодня вышла новая картина. Интересно, о чем она?

И Генке приходилось рассказывать содержание.

Иногда мама говорила отцу:

— Может, вечером сами сходим в кино? Генка достал бы билеты: он ведь специалист по этой части.

Отец разводил руками.

— Я бы с удовольствием, ты же знаешь. Но как раз сегодня...

Отец называл фамилию одного из «толковых» инженеров, с которым ему необходимо посоветоваться.

А Генка сердито смотрел на маму: неужели она не понимает, как сильно занят отец!

Однажды Генка узнал, что за три квартала от их дома идет старый фильм, о котором приятели отзывались коротко, но выразительно: «Мировой!»

Картину эту Генка раньше посмотреть не успел по той причине, что в дни ее первого выхода на экран он еще не родился.

Вообще Генка не решился бы пойти на вечерний сеанс. Но он знал, что отец должен вернуться поздно: у него важный и торжественный день — испытание новой машины. Отец говорил, что еще возможны всякие неожиданности, что кое-кто из «нетолковых» инженеров может выступить против... Отец волновался! А как же тогда волновалась мама, ожидая его возвращения? Она места себе не находила: то садилась за машинку, то при каждом звуке шагов выбегала на лестницу.

И Генке хотелось пойти в кино еще и для того, чтобы скорей пролетели часы ожидания. Чтобы вернуться домой, увидеть отца и по лицу мамы (именно мамы!) понять, что все в порядке, все в полном порядке...

Генка захватил с собой долговязого семиклассника Жору, которому беспрепятственно продавали билеты на любой сеанс. Жора доставал билеты всем мальчишкам во дворе, за что собирал с них немалый оброк: редкие книги и треугольные марки.

Ребята помчались по вечерним улицам, толкая прохожих и шепча себе под нос торопливые извинения, которые слышали только они сами. Когда добрались до кинотеатра, оказалось, что уже поздно: билеты проданы. Кончился предыдущий сеанс... Из кинозала выходили люди, шурясь от света, на ходу натягивая пальто и так же на ходу обмениваясь впечатлениями. Генка глядел на них с завистью.

И вдруг он услышал такой знакомый голос:

— Тебе не холодно, малыш?

Генка повернул голову — и увидел отца. Отец, пригнувшись, помогал какой-то незнакомой белокурой женщине погрузиться в каракулевую шубку.

Генка хотел шмыгнуть в сторону: ему ведь было строго запрещено ходить на вечерние сеансы. Но глаза его сами собой, помимо воли, поднялись, встретились с глазами отца — и Генка изумленно отступил на шаг: он вдруг увидел, что отец сам его испугался. Да, да, отец испугался! Он, всегда такой сдержанный, неторопливый в движениях, вдруг засуетился, стал неловко вытаскивать свою руку из-под руки белокурой женщины и даже, как показалось Генке, хотел спрятаться за колонну, которая никак не могла скрыть его, потому что она была тонкая, узкая, а отец — огромный и широкоплечий.

Генка помог отцу: он выскочил на улицу и побежал так быстро, что даже длинноногий Жора не поспевал за ним.

Но где-то на перекрестке Генка остановился — в его ушах звучали слова: «Тебе не холодно, малыш?» Белокурая женщина, которую отец погружал в каракулевую шубку, была в самом деле невысока ростом, но Генке казалось диким, что и к ней тоже могут относиться слова, которые всегда принадлежали маме, одной только маме...

А как же испытание машины? Значит, это неправда? А может, никакой машины вовсе и нет? Отец сказал неправду... Генка не мог понять этого, это не уместилось в его сознании. Тогда, может быть, все неправда: и разговоры о книгах и споры за ужином? Все, все неправда!

Библиотекарша, по прозвищу «Смотри не разорви», крикнула:

— Зайди, Гена! Я достала книгу, которую ты просил!

Но Генка только махнул рукой: он не хотел брать книгу, которую советовал ему прочитать отец. Он почему-то не верил этой книге...

Вернувшись домой, Генка сразу же лег в постель.

— Что с тобой? Ты такой горячий... Нет ли у тебя температуры?

Больше всего мама волновалась, когда отцу или Генке нездоровилось: всякая, даже самая пустяковая, болезнь казалась ей тогда неизлечимой.

— Не волнуйся, мамочка... Я очень устал, и все! — как никогда ласково ответил Генка.

А на самом деле он просто не хотел... он не мог слышать, что сегодня скажет отец, когда мама откроет ему дверь.

1954 г.

## АКТРИСА

*В. А. Сперантовой*

Я ждал ее у служебного театрального входа. Актеры, не до конца второпях разгримированные, выбегали на улицу и с поспешностью учеников-выскачков задирали вверх руку, надеясь остановить какую-нибудь машину. А убедившись в бесполезности этих надежд, устремлялись в метро.

Она вышла не торопясь. Маленькая, закутанная в платок.

— Простите... Я хочу вам сказать... Вы... волшебная актриса!

— Я?! Почему?

— Потому что сегодня вы были моей бабушкой. Вы продлили ее жизнь. Для меня... Понимаете? Последний раз я был в вашем театре именно с ней. Давно... Еще до войны.

— И тоже под Новый год?

— Поверьте мне: тоже! Я хотел бы вам рассказать...

— Знаете, — перебила она, — это хорошо, что вы оказались под рукой. В буквальном смысле! На улице гололед, а я вечно падаю. Поддержите-ка свою старую бабушку. Если вы не торопитесь. А заодно и расскажете.

\* \* \*

Дома, в котором жила бабушка, уже нет. За его счет расширили улицу. Я думаю, бабушка была бы этому рада. Вообще характер у нее был удивительный... К примеру, ей нравилось, что ее старинный

балкон выходил не в тихий двор, а как бы нависал над тротуаром, не умолкшим ни ночью, ни днем.

— Есть на что свалить свою старческую бессонницу! — говорила бабушка.

У нее было четверо дочерей. Но только моя мама жила в одном городе с бабушкой. И не просто в одном городе, а за углом, в трех шагах. Точнее сказать, в двадцати семи... Я подсчитал однажды количество шагов от бабушкиного дома до нашего.

— Хорошо, что мы не живем вместе, в одной квартире, — говорила бабушка. — С детства люблю ходить в гости. Встречают, провожают... Ухаживают!

В гости она любила не только ходить, но и ездить. Она часто вспоминала о том, как ездила много лет подряд на лето в деревню к своему брату — учителю. Брат был двоюродный. Но, судя по рассказам бабушки, встречал ее, как родной. Это было еще до войны. А после войны она к брату уже не ездила, потому что он погиб.

— Он был самым добрым в нашей семье, — говорила бабушка. — И не потому, что погиб. Я и раньше о нем так говорила.

Под Новый год бабушка всегда почему-то ждала... что дочери, жившие в других городах, позовут ее к себе. Она даже присматривала в магазинах игрушки, которые повезет своим внукам.

Дочери присылали поздравительные открытки. Они сообщали, что очень скучают. Они любили ее. И наверное, просто не догадывались... Конечно, я мог бы им обо всем написать. И однажды совсем уже собрался... Но бабушка остановила меня:

— За подсказки, я слышала, ставят двойки?

— Ставят, — ответил я.

В канун того далекого года, о котором я сейчас вспомнил, шестые классы нашей школы отправились в культпоход. И хотя путь лежал в детский театр, у нас, как и во всяком походе, были свои командиры: мамаша из родительского совета и две классные руководительницы.

Дня за три до этого выяснилось, что шестому «Б», то есть мне, достались билеты в партер, а шестому «А» — в бельэтаж, хотя он был ничуть не хуже нашего класса. Мне даже казалось, что он был лучше, потому что в нем училась Галя Козлова.

Она была старостой изокружка. И хоть я рисовать не умел, но записался в этот кружок. За все шесть лет моей школьной жизни она обратилась ко мне всего один раз. Составляя список юных художников школы, она спросила: «Где ты живешь?» И я забыл название нашей улицы... Вот до чего дошло!

Вскоре я покинул изокружок, потому что понял: нельзя быть последним в глазах любимого существа. А хуже меня в кружке не рисовал, к сожалению, никто...

На спектакль детского театра я купил два билета. «Подойду к Гале, — думал я, — и как бы между прочим скажу: «У меня оказался

лишний билет. В партере сидеть лучше, чем в бельэтаже. Возьми, если хочешь...» И весь спектакль буду сидеть рядом с ней! Так закончится год... И я буду считать его самым счастливым во всей своей жизни!»

На уроках и даже по ночам я мысленно репетировал: «Пройду мимо, поздороваюсь... Вспомню о чем-то, вернусь... А там, в партере, я предложу ей свою программку. Она прочитает ее, поддержит в руках. А потом я спрячу эту программку. И каждый раз перед Новым годом буду вынимать ее, разглядывать, вспоминать...»

В конце декабря, словно сговорившись, пришли открытки от всех маминых сестер. Они поздравляли бабушку, маму с папой и даже меня. Опять писали, что очень скучают и никак не дождутся встречи! — В ожидании тоже есть прелесть: все еще впереди... — тихо сказала бабушка.

Мама и папа стали объяснять, что им очень не хочется идти завтра в какую-то компанию, но не пойти они просто не могут. И я в тон им с грустью сказал:

— А мне завтра придется пойти в театр.

Бабушка стала поспешно искать что-то в сумке.

Тогда я вдруг... неожиданно для самого себя произнес:

— Пойдем со мной, бабушка. У меня есть лишний билет.

Родители очень обрадовались. Оказалось, что они и сами отправились бы со мной, потому что в детском театре взрослым гораздо интересней, чем детям. Они бы с удовольствием поменялись с бабушкой, если бы она могла вместо них пойти в ту компанию... А бабушка еще ниже склонилась над своей сумкой. Она продолжала что-то искать в ней. Но теперь уже, мне казалось, от радости.

— Надо будет сделать прическу, — сказала она. — Но в парикмахерскую завтра не попадешь! Я надену свое черное платье. А? Как вы читаете? Оно не будет выглядеть траурным?

— Черный цвет — это цвет торжества! — радостно возразил папа.

И бабушкин театральный бинокль тоже был торжественно-черного цвета.

— Хочешь посмотреть? — спросила она еще до начала спектакля.

Я взял бинокль... И навел его на Галю Козлову, сидевшую в бельэтаже. «Как здорово! — думал я. — Как здорово... Я от нее далеко, а она — рядом со мной, совсем близко. Но этого не замечает! Я могу тайно разглядывать ее подбородок...»

В это время бабушка обратилась к моему соседу по парте, который и в театре оказался нашим соседом:

— Дай-ка мне на минуту твои очки. Я думаю, оправа для тебя неудобна... Велика! Совсем не видно лица. И стекла плохо протерты. При такой люстре это сразу заметно! Протирать нужно вот так...

По профессии бабушка была глазным врачом. Если рядом с ней оказывались люди в очках, она обязательно проверяла, хороша ли оправа, годятся ли стекла. Мечтая поехать к своим дочерям, она говорила:



— Посмотрю там... какое у внуков зрение!

Ей хотелось, чтоб все на свете хорошо видели.

«Вот если бы у Гали Козловой слегка заболели глаза... — мечтал я тогда. — Чуть-чуть заболели бы и всего на несколько дней... я ответил бы ее к своей бабушке!»

Огромная, словно добела раскаленная люстра начала остывать, остывать... Неторопливо раздвинулся занавес. И на сцене появился мальчишка. Он шел, останавливался, думал. Снова шел... И я верил, что он идет к старой женщине, которая полвека была учительницей, а потом заболела, покинула школу. А жить без ребят не могла. И мальчишка решил победить ее одиночество...

Когда огромная люстра под потолком стала вновь раскаляться, бабушка ткнула пальцем в программку, ту самую, которую я собирался хранить всю жизнь, и сказала:

— Она... волшебная актриса!

— Которая играет мальчишку?

— Да... — Бабушка помолчала. И тихо добавила: — Потому что она — это ты. Сегодня, по крайней мере...

— Ну что ты?! — скромно возразил я.

— Пойдем в буфет, — предложила бабушка. — Я обожаю толкаться в театральных буфетах!

Мы вышли в фойе. Я думал, что ребята будут молча посмеиваться, увидев меня с бабушкой. Но никто не посмеивался.

В буфете на нас налетела мамаша из родительского совета и воскликнула:

— Это замечательно, что ты пришел с бабушкой. Не постеснялся!

— Бабушка, идем скорей... Вон какая очередь! — сказал я.

— Ну, нет! — возразила она. — Старуху в детском театре должны пропустить вне очереди.

Ее пропустили... Уже добравшись до самой буфетной стойки, она обернулась и крикнула мне:

— Ты любишь яблочные пирожные?

— Люблю, — неискренне ответил я. Поскольку понял, что бабушка их очень любит.

Сейчас, через много лет, я думаю: «Как жаль, что бабушку не видели в тот вечер ее дочери, жившие в других городах... Они бы поняли, как легко было сделать ее счастливой!»

\* \* \*

— Теперь уже мой сын ходит в школу...

— А я стала бабушкой!

— На сцене...

— И в жизни, — сказала она, опираясь на мою руку. — Как скользко...

— Мы живем в другом городе... Я приехал в командировку. Вечером подошел к театру. Вижу: все — как раньше! Классная руководительница привела на спектакль шестой класс. Один мальчишка у нее заболел, и она предложила билет. — Помолчав, я добавил: — Спасибо вам...

— За что, в самом деле?

— Вы продлили для меня ее жизнь! Вы заставили меня вспомнить... А ей в тот далекий вечер вы помогли... ясней разглядеть меня. И она стала счастливее. Разве это не чудо?

Актриса крепче оперлась на мою руку, хотя льда в тот момент у нас под ногами не было.

1975 г.

## ПРО НАШУ СЕМЬЮ

### 1. Самый счастливый день

Учительница Валентина Георгиевна сказала:

— Завтра наступают зимние каникулы. Я не сомневаюсь, что каждый ваш день будет очень счастливым. Вас ждут выставки и музеи! Но будет и какой-нибудь самый счастливый день. Я в этом не сомневаюсь! Вот о нем напишите домашнее сочинение. Лучшую работу я прочту вслух, всему классу. Итак, «Мой самый счастливый день»!

Я заметил: Валентина Георгиевна любит, чтобы мы в сочинениях обязательно писали о чем-нибудь с а м о м: «Мой с а м ы й надежный друг», «Моя с а м а я любимая книга», «Мой с а м ы й счастливый день».

А в ночь под Новый год мама с папой поссорились. Я не знаю из-за чего, потому что Новый год они встречали где-то у знакомых и вернулись домой очень поздно. А утром не разговаривали друг с другом...

Это хуже всего! Уж лучше бы пошумели, поспорили и помирились. А то ходят как-то особенно спокойно и разговаривают со мной как-то особенно тихо, будто ничего не случилось. А когда кончится то, что случилось, не поймешь. Они же друг с другом не разговаривают! Как во время болезни... Если вдруг поднимается температура, даже до сорока — это не так уж страшно: ее можно сбить лекарствами. И вообще, мне кажется, чем выше температура, тем легче бывает определить болезнь. И вылечить... А вот когда однажды врач посмотрел на меня как-то очень задумчиво и сказал маме: «Температура-то у него нормальная...», мне сразу стало не по себе.

В общем, в первый день зимних каникул у нас дома было так спокойно и тихо, что мне расхотелось идти на елку.

Когда мама и папа ссорятся, я всегда очень переживаю. Хотя именно в эти дни я мог бы добиться от них всего чего угодно! Стоило мне, к примеру, отказаться от елки, как папа сразу же предложил мне пойти в планетарий. А мама сказала, что с удовольствием пошла бы со мной на каток. Они всегда в таких случаях стараются доказать, что их ссора никак не отразится на моем жизненном уровне. И что она вообще никакого отношения ко мне не имеет...

Но я очень переживал. Особенно мне стало грустно, когда за завтраком папа спросил меня:

— Не забыл ли ты поздравить маму с Новым годом?

А потом мама, не глядя в папину сторону, сказала:

— Принеси отцу газету. Я слышала: ее только что опустили в ящик.

Она называла папу «отцом» только в редчайших случаях. Это во-первых. А во-вторых, каждый из них опять убеждал меня: «Что бы там между нами ни произошло, это касается только нас!»

Но на самом деле это касалось и меня тоже. Даже очень касалось! И я отказался от планетария. И на каток не пошел... «Пусть лучше не разлучаются. Не разъезжаются в разные стороны! — решил я. — Может быть, к вечеру все пройдет».

Но они так и не сказали друг другу ни слова!

Если бы бабушка пришла к нам, мама и папа, я думаю, помирились бы: они не любили огорчать ее. Но бабушка уехала на десять дней в другой город, к одной из своих «школьных подруг».

Она почему-то всегда ездила к этой подруге в дни каникул, будто обе они до сих пор были школьницами и в другое время никак встретиться не могли.

Я старался не выпускать своих родителей из поля зрения ни на минуту. Как только они возвращались с работы, я сразу же обращался к ним с такими просьбами, которые заставляли их обоих быть дома и даже в одной комнате. А просьбы мои они выполняли беспрекословно. Они в этом прямо-таки соревновались друг с другом! И все время как бы тайком, незаметно поглаживали меня по голове. «Жалеют, сочувствуют... — думал я, — значит, происходит что-то серьезное!»

Учительница Валентина Георгиевна была уверена, что каждый день моих зимних каникул будет очень счастливым. Она сказала: «Я в этом не сомневаюсь!» Но прошло целых пять дней, а счастья все не было.

«Отвыкнут разговаривать друг с другом, — рассуждал я. — А потом...» Мне стало страшно. И я твердо решил помирить маму с папой.

Действовать надо было быстро, решительно. Но как?..

Я где-то читал или даже слышал по радио, что радость и горе объединяют людей. Конечно, доставить радость труднее, чем горе. Чтобы обрадовать человека, сделать его счастливым, надо потрудиться, поискать, постараться. А испортить настроение легче всего! Но не хочется... И я решил начать с радости.

Если бы я ходил в школу, то сделал бы невозможное: получил бы четверку по геометрии. Математичка говорит, что у меня нет никакого «пространственного представления», и даже написала об этом в письме, адресованном папе. А я вдруг приношу четверку! Мама с папой целуют меня, а потом и сами целуются...

Но это были мечты: никто еще не получал отметок во время каникул!

Какую же радость можно было доставить родителям в эти дни?

Я решил произвести дома уборку. Я долго возился с тряпками и со щетками. Но беда была в том, что мама накануне Нового года сама целый день убиралась. А когда моешь уже вымытый пол и вытираешь тряпкой шкаф, на котором нет пыли, никто потом не замечает твоей работы. Мои родители, вернувшись вечером, обратили внимание не на то, что пол был весь чистый, а на то, что я был весь грязный.

— Делал уборку! — сообщил я.

— Очень хорошо, что ты стараешься помочь маме, — сказал папа, не глядя в мамину сторону.

Мама поцеловала меня и погладила по голове, как какого-нибудь круглого сироту.

На следующий день я, хоть были каникулы, поднялся в семь утра, включил радио и стал делать гимнастику и обтирание, чего раньше не делал почти ни разу. Я топал по квартире, громко дышал и брызгался.

— Отцу тоже не мешало бы этим заняться, — сказала мама, не глядя на папу.

А папа погладил меня по шее. Я чуть не расплакался.

Одним словом, радость не объединяла их. Не примиряла... Они радовались как-то порознь, в одиночку.

И тогда я пошел на крайность: я решил объединить их при помощи горя!

Конечно, лучше всего было бы заболеть. Я готов был все каникулы пролежать в постели, метаться в бреду и глотать любые лекарства, лишь бы мои родители вновь заговорили друг с другом. И все было бы снова как прежде... Да, конечно, лучше всего было бы сделать вид, что я заболел — тяжело, почти неизлечимо. Но, к сожалению, на свете существовали градусники и врачи.

Оставалось только исчезнуть из дома, временно потеряться.

Вечером я сказал:

— Пойду к Могиле. По важному делу!

Могила — это прозвище моего приятеля Женьки. О чем бы Женька ни говорил, он всегда начинал так: «Дай слово, что никому не расскажешь!» Я давал. «Могила?» «Могила!» — отвечал я.

И что бы ни рассказывали Женьке, он всегда уверял: «Никогда! Никому! Я — Могила!» Он так долго всех в этом уверял, что его и прозвали Могилой.

В тот вечер мне нужен был человек, который умел хранить тайны! — Ты надолго? — спросил папа.

— Нет. Минут на двадцать. Не больше! — ответил я. И крепко поцеловал папу.

Потом я поцеловал маму так, будто отправлялся на фронт или на Северный полюс. Мама и папа переглянулись. Горе еще не пришло к ним. Пока была лишь тревога. Но они уже чуть-чуть сблизились. Я это почувствовал. И пошел к Женьке.

Когда я пришел к нему, вид у меня был такой, что он спросил:

— Ты убежал из дому?

— Да...

— Правильно! Давно пора! Можешь не волноваться: никто не узнает. Могила!

Женька понятия ни о чем не имел, но он очень любил, чтобы убежали, прятались и скрывались.

— Каждые пять минут ты будешь звонить моим родителям и говорить, что очень ждешь меня, а я еще не пришел... Понимаешь? Пока не почувствуешь, что они от волнения сходят с ума. Не в буквальном смысле, конечно...

— А зачем это? А?! Я — никому! Никогда! Могила!.. Ты знаешь...

Но разве я мог рассказать об этом даже Могиле?

Женька начал звонить. Подходили то мама, то папа — в зависимости от того, кто из них оказывался в коридоре, где на столике стоял наш телефон.

Но после пятого Женькиного звонка мама и папа уже не уходили из коридора.

А потом они сами стали звонить...

— Он еще не пришел? — спрашивала мама. — Не может быть! Значит, что-то случилось...

— Я тоже волнуюсь, — отвечал Женька. — Мы должны были встретиться по важному делу! Но, может быть, он все-таки жив?..

— По какому делу?

— Это секрет! Не могу сказать. Я поклялся. Но он очень спешил ко мне... Что-то случилось!

— Ты не переживай, — предупредил я Могила. — У мамы голос дрожит?

— Дрожит.

— Очень дрожит?

— Пока что не очень. Но задрожит в полную силу! Можешь не сомневаться. Уж я-то...

— Ни в коем случае!

Мне было жалко маму и папу. Но я действовал ради высокой цели! Я спасал нашу семью. И нужно было переступить через жалость!

Меняхватило на час.

— Что она сказала? — спросил я у Женьки после очередного маминого звонка.

— «Мы сходим с ума!» — радостно сообщил Женька. Он был в восторге.

— Она сказала: «Мы сходим...»? Именно — мы? Ты это точно запомнил?

— Умереть мне на этом месте! Но надо их еще немного помучить, — сказал Женька. — Пусть позвонят в милицию, в морг...

— Ни за что!

Я помчался домой!..

Дверь я открыл своим ключом тихо, почти бесшумно. И на цыпочках вошел в коридор.

Папа и мама сидели по обе стороны телефона, бледные, измученные. И глядели друг другу в глаза... Они страдали в месте, вдвоем. Это было прекрасно!

Вдруг они вскочили... Стали целовать и обнимать меня, а потом уж друг друга.

Это и был самый счастливый день моих зимних каникул.

От сердца у меня отлегло, и назавтра я сел за домашнее сочинение. Я написал, что самым счастливым днем был тот, когда я ходил в Третьяковскую галерею. Хоть на самом деле я был там полтора года назад.

1969 г.

## 2. Как ваше здоровье?

Бабушка считала моего папу неудачником. Она не заявляла об этом прямо. Но время от времени ставила нас в известность о том, что все папины товарищи по институту стали, как назло, главными врачами, профессорами или в крайнем случае кандидатами медицинских наук. Бабушка всегда так громко радовалась успехам папиных друзей, что после этого в квартире становилось тихо и грустно. Мы понимали, что папа был «отстающим»...

— Хотя все они когда-то приходили к тебе за советами. Ты им подсказывал на экзаменах! — воскликнула как-то бабушка.

— Они и сейчас приносят ему свои диссертации, — сказала мама, не то гордясь папой, не то в чем-то его упрекая. — Они получают творческие отпуска для создания научных трудов! А он и в обычный

отпуск уже три года не может собраться. Каждый день эта больница! Операции, операции... И больше ничего. Хоть бы на недельку взял больничный: заболел бы, отдохнул, что ли...

Вскоре мамин желание сбылось: папа заболел гриппом.

Ему прописали лекарства.

— А еще, — сказал врач, — нужны покой, тишина.

Телефон у нас стал звонить каждые две минуты...

— Как его здоровье? Как он себя чувствует? — спрашивали незнакомые голоса.

Сперва меня это злило: папа не мог заснуть. И вечером я сказал маме, которая вернулась с работы:

— Звонили, наверно, раз двадцать!

— Сколько? — переспросила мама.

— Раз тридцать, — ответил я, потому что почувствовал вдруг, что мама как-то приятно удивлена. — Они мешают ему спать, — сказал я.

— Понимаю. Но, значит, они волнуются?

— Еще как! Некоторые чуть не плакали... от волнения... Я их успокаивал!

— Когда это было? — поинтересовалась бабушка.

— Ты как раз ушла за лекарством. Или была на кухне... Точно не помню.

— Возможно... Звонков действительно было много, — сказала бабушка и с удивлением посмотрела на дверь комнаты, в которой лежал папа.

Она не ожидала, что будет столько звонков. Они обе не ожидали!..

«Как здорово, что папа заболел! — думал я. — Пусть узнают... И поймут. Особенно мама!» Да, больше всего мне хотелось, чтоб мама узнала, как о папе волнуются совершенно посторонние люди.

В эту минуту опять зазвонил телефон.

— Простите меня, пожалуйста... — услышал я в трубке какой-то сдавленный женский голос. — Я с кем разговариваю?

— С его сыном!

— Очень приятно... Тогда вы поймете. У меня тоже есть сын. Его завтра должны оперировать. Но я хотела бы дожидаться выздоровления вашего папы. Если это возможно... Попросите его, пожалуйста. У меня один сын. Я очень волнуюсь. И хотела, чтобы ваш папа сам, лично... Если это возможно... Тогда я была бы спокойна!

— Повторите, пожалуйста, это его жене, — сказал я. — То есть моей маме... Я сейчас ее позову!

И позвал.

Еще через час или минут через сорок мужской голос из трубки спросил:

— С кем я имею честь?

— С его сыном!

— Отлично! Тогда вы не можете не понять. Моей супруге будут

удалять желчный пузырь. Обещали, что удалит ваш отец. Именно поэтому я и положил ее в эту больницу. Хотя у меня были другие возможности! Но мне обещали, что ваш отец... И вдруг такая неприятная неожиданность! Как же так? Надо поднять его на ноги! Может быть, нужны особенные лекарства? Какие-нибудь дефицитные? Я бы мог... Одним словом, я хотел бы его дождаться. Это не театр: здесь дублеры меня не устраивают!..

— Скажите все это е г о жене. Вот так, как вы говорили мне... Слово в слово! Думаю, она сумеет помочь.

Я опять позвал маму.

И в другие дни я говорил всем, кто интересовался папиным самочувствием:

— Сейчас ничего определенного сказать не могу. Вы позвоните вечером. Как раз его жена будет дома! Она вам все объяснит.

Вернувшись с работы, мама усаживалась в коридоре возле столика с телефоном и беспрерывно разговаривала с теми, кого я днем просил позвонить.

Иногда я говорил бабушке:

— Может быть, ты ей поможешь?

И она «подменяла» маму у столика в коридоре.

Больные, врачи, медсестры, которые звонили папе, каждый раз спрашивали:

— А какая температура?

К сожалению, температура у папы была невысокая. А мне хотелось, чтобы все они продолжали волноваться о его здоровье!

Однажды я сказал:

— Температура? Не знаю... Разбил градусник. Но лоб очень горячий. И вообще мечется!..

Так я в тот день стал отвечать всем. Я говорил шепотом в коридоре, чтобы папа не слышал.

Мой шепот на всех очень действовал. Мне отвечали тоже чуть слышно:

— Все еще плохо?

— Да... Позвоните попозже, когда будет его жена!

Вечером нам принесли целых три градусника.

— Хочется, чтобы у него была нормальная температура,— сказала та самая женщина, сыну которой папа должен был что-то вырезать. И протянула мне градусник.— Он все еще мечется?..

— Нет, уже лучше,— сказал я.— Гораздо лучше. Не волнуйтесь, пожалуйста...

— Поставьте ему э т о т градусник,— попросила она. Будто от градусника что-то зависело.

— По-моему, есть заметное улучшение,— вновь успокоил я женщину.



Она вынула платок, опустила голову и ушла...

— Он нужен людям! — громко сказал я.

— Безусловно! — воскликнула мама.

Не заболеет папа гриппом, она бы ни за что этого не воскликнула.

В газетах пишут, что с вирусным гриппом надо беспощадно бороться. А я думал об этих вирусах с нежностью и даже с любовью... Что поделаешь? Если они мне так помогли!

В тот день я твердо решил, что если меня и дальше будут дома недооценивать, я тоже тяжело заболею. Хорошо было бы умереть... на время, чтобы все поняли, кого они потеряли! Но так как это, к сожалению, невозможно, я обязательно заболею. И весь наш класс (все сорок три человека!) будет звонить. Уж я постараюсь! Тогда все сразу поймут...

*1969 г.*

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

ИВАШОВ ( <i>повесть</i> ) . . . . .	3
НОЧЬ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ . . . . .	37
ДОМАШНЕЕ СОЧИНЕНИЕ . . . . .	43
НЕПРАВДА . . . . .	47
АКТРИСА . . . . .	52
ПРО НАШУ СЕМЬЮ . . . . .	56

**Анатолий Георгиевич АЛЕКСИН**

**НОЧЬ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ**

Редактор Ю. С. Новиков

Технический редактор О. Н. Ласточкина

---

Сдано в набор 05.11.83. Подписано к печати 05.01.84. А 07302.  
Формат 70×108<sup>1/32</sup>. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,15. Тираж  
100 000 экз. Изд. № 333. Зак. № 1704. Цена 25 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография  
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва,  
А-137, ул. «Правды», 24.



Цена 25 коп.

Индекс 70668



## ВЕГА· 404

### «ВЕГА-404»

Легкий, с наплечным ремешком приемник «Вега-404» удобен в путешествиях.

«Вега» работает в диапазонах длинных и средних волн. Она обладает хорошей чувствительностью и помехоустойчивостью.

В отличие от предшествующей модели увеличена выходная мощность и модернизировано оформление.

Цена — 37 руб.

УПРАВЛЕНИЕ «ОРБИТА»

